Элеонора Гильм

Счастье со вкусом полыни

За смятением придет надежда

Я – женщина. Любовно-исторический роман

Элеонора Гильм

Счастье со вкусом полыни

«Эксмо»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гильм Э.

Счастье со вкусом полыни / Э. Гильм — «Эксмо», 2023 — (Я – женщина. Любовно-исторический роман)

ISBN 978-5-04-191262-8

Романы Элеоноры Гильм рассказывают о самом важном, погружая в чужие судьбы так легко, что хочется читать ее снова и снова! Гордыня и жажда отмщения за предательство мужа толкнули Аксинью в объятия Степана, своевольного богача из рода Строгановых. Пересуды недоброжелателей, голод и утраты лишили деревенскую знахарку сна и покоя. Лишь дочь, плод роковой страсти, укрепляла дух Аксиньи. И вот спустя годы Степан вернулся, чтобы забрать у матери Нюту – свою плоть и кровь. Не желая отдавать родное дитя, Аксинья следует за Строгановым и становится приблудной гостьей в его хоромах. Смятение царит в ее душе, и страсть сулит новые испытания. Сможет ли знахарка приручить синеглазого волка или он вновь изранит ее сердце?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-191262-8

© Гильм Э., 2023
© Эксмо, 2023

Содержание

Пролог 6
Глава 1. Семья 7
1. Возвращение волка 7
2. Богатырь 15
3. Горемыки 18
4. Законная добыча 24
5. Большой дом 28
6. Ореховая веточка 34
7. Брат 42
8. Одной искры 46
9. Грибы 49
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Элеонора Гильм
Счастье со вкусом полыни

© Гильм Э., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Пролог

Окунули ее в жидкое пламя, залили в глотку три бадьи кипятка, чтобы внутренности спеклись. Аксинья слышала, как молится женщина, как воет ветер за окном, как скребут ветки по крыше.

Не открывая глаза, она ощупала живот. Сколько дней лежит в бреду? Неведомо.

Живот оказался плоским. Тот, кто сидел в утробе ее, вышел наружу. Живой ли, мертвый ли, Аксинья не знала. Огонь, горевший внутри, лишал сил и намекал, что сын не выжил. Она попыталась открыть глаза, но веки, словно сшитые чьей-то дерзкой рукой, отказывались свершить сие нехитрое действо.

Кто-то погладил ее запястье шершавой рукой, промычал что-то, и Аксинья вспомнила Горбунью.

– С-с-сын, сын мой… Что с ним? – Она говорила и говорила, но никто не спешил отвечать. – Сын, сын, сын, сын!

Тело предавало ее, рука только мелко дрожала под ласковыми поглаживаниями повитухи. Аксинья знала, что не вынесет и мига страшной неопределенности. Увидеть тельце, рыдать, просить о милости…

– Аксинья, тебе лучше? – Она узнала голос Анны Рыжей и попыталась повторить завязшее в зубах слово. – Ты чего шепчешь-то? Не пойму я.

Аксинья все растягивала губы: «Сын». Трясущимися руками она провела по векам – не сшиты ли? Нет, значит, можно разлепить.

Она с трудом открыла глаза. Сразу ударило по зрачкам пламя свечей. Горбунья сидела возле ложа, Рыжая Анна держала миску в руках, что-то жидкое плеснулось на половицы. Она подняла на Аксинью тревожный взгляд, повернулась к Горбунье, а та только крутила длинным носом из стороны в сторону.

Издеваются, что ль? Аксинья хотела поколотить всех. За глупость, непонятливость, за то, что погубили ее дитя. Если бы она могла сама… Гнев придал ей сил, и Аксинья попыталась встать, да только тело противилось.

Глава 1. Семья

1. Возвращение волка

Шла вторая неделя Поста, вечер обитатели дома проводили в тихих разговорах.

– Когда уж вернутся они? Истосковалась я по голубю своему ненаглядному. – Молодуха с ладным, чуть оплывшим лицом переплетала нитки на ткацком стане. Тонкие проворные пальцы выполняли непростую работу играючи, бело-коричневая пестрядь[1] рождалась на глазах.

– Настанет срок – приедут, – с показным равнодушием отвечала ей вторая, занятая вышивкой.

Она переступила порог четвертого десятка, но морщины почти не коснулись гладкого, чуть смугловатого лица. Темные, вытянутые к вискам глаза, смоляные брови и ресницы выдавали толику инородческой крови. Волосы прятались под светлым убрусом, что плотно обхватывал голову, но всякий бился бы об заклад, что косы ее темны, словно грива вороного коня.

– Аксинья, ты не меньше моего ждешь. Только изображаешь равнодушную да спокойную. – Молодуха выпустила из рук нити, резко встала, охнула и схватилась за поясницу.

– Ты, Лукаша, не гневайся. Дитю покой в утробе нужен. А что ж до меня… Боюсь: Хозяин вернется – и вновь покоя не будет.

– Слышала я все… Все! Как вы там… – Лукаша подошла к большому бронзовому шандалу[2], поправила свечку, что зависла в печальном поклоне.

– Мне смущаться уж нечего. Сама знаешь – и в кипяток ныряла, и по ледяному полю ходила. – Аксинья смотрела на молодуху словно на малое, неразумное дитя. – А с грехами мне самой жить – Бога гневить.

– Да ты прости, подруженька. Вырвалось лишнее слово сгоряча.

– Подслушивала-то зачем?

Лукаша поймала ее чуть насмешливый взгляд. Руки Аксиньи не прерывали ни на минуту работы, нить выходила ровной, гладкой, словно волосы той, что не приносила еще дитя.

– Проснулась да пошла до нужника. Случайно там оказалась. – Краска залила ее милое лицо. Лукаша еще не научилась усмирять предательский румянец.

Аксинья давно, от матери, слыхала, что молодость уходит вместе с умением мучительно, резко краснеть. Научишься врать – постареешь.

– Скажу, ежели знать хочешь… Только за дверцей глянь – нет ли Нютки моей? Ей, ребенку, слышать срамные слова не надобно.

Лукаша послушно выглянула из светелки, поправила лазоревый убрус, обошла вокруг Аксиньи, словно хоровод вокруг весенней березки водила.

– Ты с ним, со Степаном, жить как жена будешь?

– А это как он велит. Хоть как жена, хоть как служанка последняя, в хлеву выгребать загаженную солому. Подневольная я. – Аксинья наконец отвела глаза от Лукаши. И самой себе не призналась бы, что разговор для нее тягостен.

Как дать разумный, спокойный ответ на те вопросы, что терзают денно и нощно?

– По сердцу он тебе иль нет? Гляжу и понять не могу. Зубами щелкаешь, как волчица, от одного имени кривишься, а там… – Лукаша оборвала себя на полуслове.

---

[1] *Пестрядь* – грубая льняная ткань из разноцветных ниток.

[2] *Шандал* – массивный подсвечник.

Аксинья представила, как молодая женщина прижималась к шершавой бревенчатой стенке, слушала, замерев, и закрывала рот ладошкой, чтобы не вырвался вскрик негодования или изумления. Вернулась под бок к мужу, прильнула теплым, зовущим телом к его спине, гладила жадными ладонями, ощущая непонятную жажду, а потом со вздохом отодвигалась – запрет пастырей строг[3].

– Бывают чувства ровные, ясные, точно погожий летний день. Так у тебя с мужем. Степан и я – буря и деревья, что клонятся к земле. Гляжу на него, поднимается что-то к горлу. Плакать тянет, и кричать, и смеяться – все сразу. – Аксинья, обычно сдержанная, серьезная, чувствовала, что слова рвутся из нее, текут полноводной рекой.

Люб не люб, она и сама не могла сказать, что кипело в котле ее души. Ярость, обида, воспоминания о предательстве: кто оставил ее, беззащитную, с ребенком и не удосужился появиться ни разу за долгие восемь лет? Жгучая благодарность за помощь, за мешки с зерном… Желание прижаться крепко-накрепко, превратить наглую усмешку во взгляд, полный восхищения. Все, что бурлило в ней сейчас, требовало выхода.

– Потехе дурно стало! Мамушка! – белым вихрем ворвалась в светлицу синеглазка лет десяти. По взволнованному голосу ее Аксинья и Лукаша поняли: дело серьезно.

Девчушка припустила вниз по лестнице. Резные перила, невысокие ступени были удобны для маленьких женских ног. Аксинья, подобрав подол домашней рубахи, побежала вслед за ней, словно не давили три прожитых десятилетия.

– Да куда же вы? – Лукаша медленно спускалась, держась правой рукой за перила, левой окутывая живот, защищая его.

В переплетении сеней, жилых и нежилых клетей прятался небольшой закуток, где обитал Потеха. Стены, увешанные пучками трав, ветками малины и смородины. На лавках – корзины с шиповником и вяленой рябиной. Живой дух пижмы и тысячелистника витал здесь, словно на луговой окаемке леса.

– Потеха, ты чего ж удумал? – Аксинья с тревогой вглядывалась в небольшого человечка, который скрючился на лавке под рваным одеялом.

– Помирать пора, Окшушенька, – неразборчиво пробормотал он и обхватил узкую ладонь женщины непомерно крупной рукой, что, казалось, принадлежала более молодому и сильному мужчине.

– Да куда ж тебе помирать? Что стряслось, Потеха?

– Шел, шел да упал, полешки по кухне рассыпал. Мамушка, помоги Потехе. Как без него? – Девчушка схватила со стены зеленый пучок, трясла им, словно мать не видела травяного изобилия.

– Нюта, угомонись. Мне с хворым поговорить надобно… Ромашку оставь в покое и верни на крюк.

Аксинья подвинулась к старику поближе, так, что тепло ее крепкого тела перетекало в его изнуренную плоть.

– Пора мне отдохнуть, девонька. Да и на кой нужен я, штарый пень? – Потеха обращался к ней словно к босоногой хохотушке.

– Как мы без тебя? Нютка следом за тобой ходит, слово ловит. А Хозяин… – Она долго увещевала Потеху, заваривала травы, вливала их в ставший покорным и жадным рот, терла шерстяной рукавицей руки и ноги, просила помощи у матери-природы.

Потеха стал для Нютки дедом, которого не успела она узнать, старшим добрым другом для Аксиньи и Лукаши, а уж с Хозяином дома, Степаном Строгановым, старика связывало что-то особое, сокровенное, уходящее в такую глубь, какой Аксинье никогда не узнать.

---

[3] Сексуальные отношения во время Великого поста были запрещены, даже если речь шла о супругах.

* * *

– Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей Василия, Анны, Федора, Матвея… – Аксинья шептала слова молитвы, перед взором ее проходили те, о чьем упокоении она просила.

Отец – умелый гончар и видный мужчина, крепкий, разумный, и невзгоды не смогли согнуть его спину. Мать – воплощение доброты и благости. Брат – несчастный Феденька, который любил и защищал младшую сестру, грешницу. Матвейка… Здесь по лицу Аксиньи лились бесконечные слезы, сердце, должное просветлеть, преисполниться благости, сжималось от бесконечной вины.

– И за Степана Строганова, благодетеля моего, прошу, – шептала она на исходе молитвы и сил, когда свеча догорала и мрак клубился за окном словно черный кот.

Дочку давно сморила шелковая ночь, она, укутавшись пуховым одеялом, видела третий сон. Аксинья, терзаемая муками совести, все не спала. Суббота четвертой седмицы Великого поста истончалась, уходила в прошлое вместе с молитвами и страхами.

* * *

Ручей бежал, позвякивая серебряными колокольчиками, окатывал ледяной водицей поваленный ствол вековой сосны. Аксинья в одной рубахе сидела на том дереве, опустив пятки в ручей. Солнце пригревало ее темную непокрытую голову, уши ловили жужжание пчел, и жизнь казалась легкой и благодатной. Она закрыла глаза, уйдя в негу и…

Обнаженных ног коснулось что-то теплое, мягкое, пощекотало колени. Она, не открывая сонные глаза, протянула руку, коснулась густой шерсти и, ни капли не убоявшись, впилась ласковыми перстами в лохматый бок, зверь отвечал ей довольными звуками. Перекатывались мощные мышцы, волк, чуть повозившись, привалился к ее ноге, обдав шерстяным жаром.

– Устал с дороги? – спросила Аксинья, продолжая гладить зверя.

Тот не отвечал, лишь рыкнул что-то неясное, не гневливое – скорей усталое.

– Как жить мне теперь? – Она открыла глаза, чтобы вглядеться в существо, что застыло покорной глыбой у ног.

Светлая шерсть с бурыми подпалинами на спине и боках, мощная грудь, заостренная морда с черным, влажно поблескивающим носом, прикрытые пушистыми веками глаза. То ли дикий волк, то ли мирный пес, то ли…

– Степан? – спросила она.

Волк насторожил уши, открыл очи – темно-синие, злые, – поглядел так, словно сказала она что-то непотребное, гадкое, обидное.

– Да что ж ты со мною так? По сердцу ты мне, да не ланью хочу быть – волчицей твоей… – Волк не дал договорить. Он вцепился острыми зубами в ее ногу, и раздирал плоть, и клыки окрасились кровью. А крик так и не сорвался с губ Аксиньи.

Скоро настало утро, петухи заголосили, окаянные птицы, выдернули из ночной неги и ночных страхов. Строганов, синеглазый волк, ночевал в ее снах.

* * *

Постная трапеза собрала всю семью за длинным столом.

Да, они могли считать себя семьей. Лукерья с дитем Пантелеймона Голубы в утробе, счастливая жена и хозяйка. Аксинья, оставшаяся в доме – то ли наложницей, то ли служанкой;

довольная Нюта, дочь Степана Строганова; Потеха, старый слуга, еще не оправившийся от недуга.

– Ты, Акшинья, – хитрая душа, – щурился Потеха на знахарку. – Лиша, да не рыжая, а чернобурая. – Он звучно хлебал грибные щи, постукивал ложкой по дну миски.

– И в чем моя хитрость? – Аксинья, раскладывавшая да перекладывавшая воспоминания о ночном звере, против воли улыбнулась.

– Взяла да поштавила на ноги штарика. Мне ужо в могилу пора. Нешпроста, ой нешпроста, – шепелявил старик.

– Дед, как не знать! Радеет о тебе, мамушка, – ввернула Нютка и, поймав строгий взгляд родительницы, поперхнулась.

Сколь ни вбивала Аксинья в пустую дочкину голову правила да поучения – все без толку. «Не перебивай старших. Веди себя скромно. В церкви не разглядывай людей, молчи во время службы», – словесные ручьи текли мимо синеглазой Нютки.

– Ради Штепана штаралашь-то, ради него, ненаглядного. Вижу, ждешь его, дождатьша не можешь. Рашкажу Штепану, как исцелила ты меня, похвалю. Да рашшкажу о… – Потеха отложил ложку и уставился на Аксинью. Темное его лицо в глубоких прожилках морщин, с клочковатой седой бородой, являло собой воплощение лукавства.

– Одолели вы все меня! Мочи нет! Каждый норовит сказать. – Аксинья с грохотом отодвинула лавку, Потеха качнулся, но улыбки с лица не убрал. – Наелась досыта.

– Ты, девонька, не кричи…

– Какая тебе я девонька! Года мои велики, а ум мал. – Аксинья взяла свою миску и потянула к себе посудину Потехи.

– А ты забери. – Старик не отдавал миску и улыбался беззубым ртом, и тут же гнев Аксиньи спрятался под рукав. Как можно злиться на седого шалуна?

Лукаша, Аксинья и Нютка суетились, убирали со стола, отмывали миски да канопки[4], гремели кадушками, натирали горшки песком, по дому уже разносился тихий, вкрадчивый напев.

Вечерами в клетушке Потехи возле печи собирался люд. Аксинья и Лукаша не могли преодолеть этого зова и шли в клеть, смущались, старались не замечать запаха мужского пота и конного двора.

Семеро служилых, оставленных Строгановым для порядка и защиты при доме, не пропускали вечера, приходили послушать старика. Устраивались на лавках в темном углу, от женщин отводили глаза, но от их шепота, смеха, глубокого дыхания в доме становилось жарко. Занимались всякий своим делом: чистили оружие, строгали что-то из деревяшек, чинили сбрую.

Добрый старик, устроившись у печки, начинал говорить нараспев, и слова его лились, текли, заполняли стряпущую[5], все внимали ему, не замечая шепелявости.

– Полна земля русская
Богатырским духом
Да силушкою немереной.
Ох, вы слушайте, милы детушки,
Про Добрынюшку про Никитича,
Как врагов своих побивал мечом
Да великой своей мудростью[6].

---

[4] *Канопка* – кружка.

[5] *Стряпущая* – кухня, отдельная изба или помещение в избе, где занимались стряпней.

[6] *Здесь и далее авторские стихотворения, песни, вдохновленные русским народным творчеством.*

Нютка старалась быстрее управиться с бесконечной домашней работой и, открывши рот, внимала Потехе. Аксинья и Лукаша не выпускали из рук веретенца, за напевами старика не забывали о деле, а девчушка вся уходила в былины о славном богатыре.

Нютка закрывала глаза, представляла Хозяина с мечом в руках бьющимся с огромной змеей да младыми змеенышами. Видела она, как добрый конь переступает ногами и давит нечисть, как пот катится градом и цепляется за брови, как застилает боль синие глаза. Нютка слушала – словно в теплую водицу окуналась. Мать прогоняла ее в горницу за сладким ночным сном, она все противилась и просила старика: «Расскажи еще про Добрыню».

* * *

– Я штарый, и то слышу. – Старик показал пальцем вниз. – Псы наши лают, чертяки. А теперь шкулят, как щенки. К чему бы?

– Голуба! – Лукаша подскочила с лавки, охнула, обхватила свой большой живот, жалобно глянула на Аксинью.

– Ты не спеши, открою ворота.

– Я раньше! – Нютка подхватила сарафан так, что замелькали ноги в шерстяных чулках. – Приехали! Наконец-то!

– Тулуп да платок накинуть не забудь!

Аксинья проворно спускалась по лестнице, слышала довольные вопли Нютки, смех Голубы, низкий голос Хозяина, разговоры служилых, лай взбудораженных псов, ржание коней – всю суету и многоголосицу, что сопровождает обычно появление ватаги.

Она шла все медленнее и хотела бы, чтоб ступеньки были неисчислимыми. Отсрочить эту встречу, обмен взглядами у мира на виду. Всем до единого – от Лукаши до служилых – любопытно, что скажет да как посмотрит Строганов на ту, что недавно поселилась в его доме, на мать ребенка, на строптивицу и греховодницу.

– Батюшка! – Нютка повисла на Степановой шее, обхватила ручонками его заметенную снегом шубу.

– Буде! – Он осторожно опустил дочку на пол, но Аксинья видела – порыв Нютки доставил ему несказанное удовольствие.

– Голуба! – Лукаша рванулась к мужу, забыв о своей тяжести.

Тот скинул с головы меховую шапку, обхватил молодую жену, захохотал, словно ретивый конь, хотел поцеловать в подставленные губы, да не решился – не пристало лобзаться на людях.

Аксинья стояла в стороне. Счастьем веяло от всех четверых: незамутненный восторг от встречи, радость без края. А она, приблудная собачонка, наблюдала за ними в тоске.

Голуба отбросил извечную боязнь «что люди скажут?», прижался губами к Лукашиному ласковому рту, обхватил женское раздавшееся тело, и все собравшиеся глядели на них – кто с ласковой улыбкой, кто с завистью.

– Нютка-утка. – Голуба отпустил счастливую жену, зажал свой широкий нос, гундосил, а хозяйская дочь смеялась. Он подмигнул Нютке, ласково провел по темным косам. Будет хорошим отцом, всякому ясно.

Степан пророкотал Лукерье: «Здравствуй, хозяйка», скинул шубу прямо на пол, не заботясь о мехе, и лишь потом увидел Аксинью. Синие глаза глядели на нее настороженно, будто в доме поселилась кикимора болотная и вышла теперь к нему с приветственным словом.

Аксинья пыталась улыбнуться, но губы, неподатливые ледышки, не слушались ее. Одного доброго слова, скупой улыбки достаточно было сейчас для нее – и расцвела бы, и подбежала ласковой, льстивой кошкой.

Но не приберег для нее Строганов добросердечия: кивнул неохотно, выглянул во двор, отдал приказания служилым, попросил Лукашу накормить всех уставших с дороги.

Знатная выдалась встреча.

* * *

Аксинья пережила за свои тридцать два года многое. Устанешь перебирать в памяти – словно век целый прожила.

Яростная любовь к кузнецу Григорию, побег из отчего дома, покой в объятиях любимого мужа, попытки обмануть судьбу. Пустая утроба, что отказывалась выносить дитя. Обман, предательство мужа и крестовой[7] подруги Ульяны. Гордыня и желание отмстить, толкнувшие ее в объятия Степана, вымеска богатого рода Строгановых.

Она ощущала себя былинкой, что клонится под ветром Божьего гнева. Перешептывания за спиной, грехи и ошибки, голод и тревога за Нютку лишали ее сна и покоя. Дочь, незаконное дитя, пятно на ее подоле и счастье души, придавала ей стойкости. Былинка гнулась, да не ломалась, переживала долгие зимы и бури.

Прошлой осенью Степан Строганов, своевольный богач, решил забрать у матери Нютку, свою плоть и кровь. Многие годы он жил, не вспоминая про шальные объятия жены кузнеца, не видал дочери, а тут взял да выполнил свою угрозу.

Через мороз и метель пошла Аксинья к дочери своей, и Морена чуть не унесла ее жизнь. Смилостивился Степан, оставил ее в доме. Да только жалость его поперек горла[8].

Она кусала ни в чем не повинное одеяло, сдерживала рыдания, что рвались наружу. Безмятежная дочь сопела рядом, и последнее, чего Аксинья хотела сейчас, – разбудить Нютку и услышать: «Отчего ты заливаешься белугой?»

Навыдумывала Бог весть чего, точно неразумная девчонка. Ждала Строганова, дни перебирала, точно камешки на бусах. Грех отмаливала да с замиранием сердца ждала, позовет, соскучится по ее рукам да груди горячей.

А он и слова не молвил. Вгрызся в нее, в сны, в память дурную, мягкую, бабью, да кровь не по вкусу пришлась. Волк он и есть.

* * *

– Служанки нужны. Как с такой оравой управиться? А скоро ты дитя на свет народишь, с ним возиться будешь. Лукаша! – Молодуха рассеянно кивала, звенела ключами на поясе, но думы ее летали где-то далеко, словно птахи, скрывшиеся в густом лесу.

– Аксинья, неудобно мне… Нет…

– Да что с тобой приключилось? Голуба обидел? – Аксинья выговаривала эти шутливые слова, а сама отчего-то заходилась тревогой. Давно приучилась ждать подвоха от судьбы… И от мужчин, что держат ее поводья в крепких руках.

– Нет, да нет же. – Лукаша зарделась, облизала и без того влажные сочные губы, потянулась к уху старшей подруги. – Поведай, нет ли вреда для него? – Погладила острый, выпирающий из просторной рубахи живот.

– Вред отчего? Вы с ним… – Аксиньин голос выдал улыбку. Праведница Лукаша – и такое!

---

[7] *Крестовая подруга* – согласно русскому обычаю подруги обменивались нательными крестиками. Считалось, что это делает дружбу нерушимой.

[8] Жизненный путь Аксиньи Ветер описан в романах «Обмануть судьбу» (Эксмо, 2020, 2022), «Искупление» (Эксмо, 2021, 2022), «Волчья ягода» (Эксмо, 2021, 2023).

– Гладил он по животу, целовал да крепко к себе прижимал, радовался. И заснул, голову на живот пристроивши. Насилу спихнула с себя. Вдруг сына раздавит!

– Лукаша, живи и радуйся каждому мигу. Добрый муж тебе достался. – Аксинья не могла не радоваться Лукашиному довольству, но бабье горькое, зловредное естество вопило от зависти.

Отчего ей не привелось увидеть радости на мужском лице? Никто не прижимал ее к себе с ласковыми словами, некому было Нютку через порог перенести, в рубашку свою обрядить[9]. Ходила Аксинья и голову склоняла от взглядов недобрых, от вины своей неизбывной. Да что вспоминать…

– А Хозяин, он пришел к тебе?

Тяготилась она вниманием Лукашиным, любопытством немереным. Давно ведомо: если есть чем похвастать, любой собеседник в радость. А печаль-кручина с радостью не гуляют, другие песни поют, хороводы не водят, на кулиги[10] с надеждой глядят: подальше от людей да поспокойней.

– Аксинья, в покои к хозяину зайди. – Голуба сказал серьезно, да что-то озорное услышала в голосе его, что-то прожурчало и утекло под камень.

Не выдержала, забежала в горницу, поправила убрус, надела бусы, Лукашин дар, да сняла, фыркнув возмущенно.

Что Степану до ее нарядов?

* * *

Аксинья заглянула в покои. Все так же висели сабли на стене – душа владельца, видно, в них залетела да там и осталась. Постель перекрученная, одеяло скинуто на пол, по полу раскиданы сапоги да вещи. Вздохнула, пробурчала: «Свин», принялась подбирать рубахи, заляпанные грязью порты, кушаки – куда их столько развел? Словно щеголь московский.

Не заходила в горницу после того сражения, когда безропотно подчинялась Степану, таяла в его здоровой шуе и калечной деснице[11], а Степан покорялся ей, словно не было меж ними долгих лет разлуки.

– О чем задумалась, ведьма?

– О тебе, вестимо. – Аксинья с трудом удержала испуганный вскрик. Строганов умел застать ее врасплох.

– От тоски поди иссохла?

Она расставляла у стены сапоги: толстая свиная кожа и тонкий сафьян, юфть и бархат. Мягкие чеботы, атласные ичиги, сапоги синие, черные, белые да червленые, с высокими каблуками, подбитые серебряными гвоздиками. Работа искусная, добротная – и все в пыли да глине, без должной заботы скукожились сапоги.

– Не я ссохлась – обувка твоя. Звал меня за какой надобностью?

– Голуба не сказывал? – враз сменил тон Строганов. – Оставь ты сапоги! Потеха соберет, почистит, его дело. Слуга мой, парнишка, совсем плох. Седмицу в себя не приходит… И Третьяк тоже захворал, ногу нехристи располосовали. Поможешь?

– Все сделаю, что в моих силах, – склонила голову Аксинья. Этот разговор был ей близок и ясен. – За травами бы моими кого отправить…

---

[9] На Руси существовал обычай заворачивать новорожденных в отцову рубаху.

[10] *Кулиги* – заброшенные лесные поляны.

[11] *Шуя* – левая рука; десница – правая рука.

– В деревню – как ее там – Елки? А отчего давно не забрала скарб свой? Знахарка без трав – что мужик без срамного уда[12]. – Мужчина хрипло засмеялся, но, поймав ее недоуменный взгляд, поумерил веселье.

Аксинья могла бы сказать: страшилась вернуться в родную деревню; не решалась попросить о том Хмура, который остался за старшего среди строгановских слуг. Но зачем душу перед волком открывать? Насмешничать начнет да стыдить.

– Съездишь, коли надобно. – Он отвернулся, всем видом показывая, что разговор окончен.

– Слушаюсь, Хозяин, – не выдержала Аксинья.

Он ничего не ответил на колкость… Или принял ее за чистую монету? Гордец, честолюбивый да чванливый, куда ему уловить потаенный смех!

– Да, забыл… За Потеху спасибо. Не зря тебя в дом взял. – Слова ударились о спину ее и улетели.

Сказал бы в глаза да улыбнулся с теплотой.

Не обучен Степан благодарить да теплом одаривать вдоволь. А ей под силу изменить того, кто обладал суровым нравом и острым языком? Кто она супротив Строганова? Не лань, не волчица… Блоха на волчьей шкуре.

[12] *Срамной уд* – на Руси так называли мужской половой орган.

2. Богатырь

В Соли Камской вовсю царила белокрылая зима: она рассыпала перья по двору, тормошила сонных псов, оседала на Нютиных ресницах и противилась весенним ветрам, налетавшим с юга.

«Отец вернулся», – билось ее сердце, губы сами собой расплывались в улыбке, мир казался радушным и благодатным. Он словно распахивал перед дочкой объятия, напевал что-то звонкое.

Отец… От Нютки так долго пряталось это чудное слово, она, сколь себя помнила, ощущала свою убогость, нецельность. Так растет порой деревце с обломанной макушкой, тянется ввысь, а невдомек ему: никогда не стать высоким да крепким, как соседние деревца.

Мать скрытничала.

Твердила, что Нюткино отчество звучит скрипуче, точно цепь на шее дворового пса: «Гр-р-ригор-р-рьевна», что родила ее от деревенского кузнеца, а все остальное – сплетни да бабьи выдумки.

Хитрая мать, знахарка, ведунья, да только не умеет врать. Малой птахой была Нютка, но чуяла подвох. Крылась в рождении ее постыдная тайна, мать неспроста звали грешницей да прелюбодейкой.

Отец внезапно появился, выскочил откуда-то, словно богатырь-спаситель. От голода уберег, жизнь их серую расцветил красками. Нюта из «той, что знахарка нагуляла» превратилась в дочь богатого купца. Да, видела, теперь глядели на нее без отвращения, с любопытством и завистью.

Обломанное деревце выпрямилось, и верхушка оказалась целехонька.

Нютка сразу и с великим ликованием приняла весть, что она – дочка Степана Строганова. Весь он от синих глаз, точь-в-точь как у Нютки, от огромного роста и громового голоса до обрубка в правом рукаве был ее отцом. Долго не объявлялся – так делами торговыми занимался, человек немаленький. У матери без спроса забрал – все устроилось, теперь они вместе в Соли Камской, жизнь становится все лучше с каждым днем.

– Хозяин… отец, – осторожно выговорила Нюта, зная, что матери словцо это не по душе, – к воеводе зовет. Зачем, не ведаю.

Она удерживала улыбку, супила брови, но от матери радостный щебет в душе не укроешь.

– Раз звал, значит, надобно, – сухо ответила Аксинья и, подхватив повыше утирки да скатерти, пошла дальше по нескончаемым делам.

Нютка знала, что меж отцом и матерью проскочила злонравная кошка, что глядят они друг на друга с опаской. И что судьбою предназначены друг для друг, как Василиса Премудрая и Иван-Царевич.

* * *

– Ты получше шкурой закройся. Нос любопытный не высовывай, – повторял он, а Нютке от ворчливо-веселых ноток в отцовом голосе хотелось громко петь.

Девчушка глубже залезла под овчину, натянула платок на самые брови, исподтишка разглядывала того, кого так долго ждала. Как ни старалась придумать хитроумный вопрос – такой, чтоб непременно ответил да дочку похвалил, – ничего не выходило. Слишком серьезен, строг сегодня отец. Казалось, какая-то дума терзает, замутняет синие глаза, отвращает от Нютки.

Двое служилых ехали перед санями, двое позади, охраняя Хозяина и ценный груз. Нютка, даром что девка, сразу поняла, что к воеводе поехали не с пустыми руками.

На санях бесформенной кучей громоздились большие тюки, что-то мягкое, заманчивое скрывалось там внутри, за рогожей. В ногах у Нютки поставили ладный ларец. Эх, поди ж там сокровища несметные, привезенные из далеких-далеких земель.

– Батюшка, а что бы ты… – набралась она смелости.

Да опоздала.

– Тпру-у, – протянул возница, и послушные лошади остановились.

Отец и не обратил внимания на Нютку с докучливыми вопросами.

Хромой Третьяк спрыгнул с козел, подхватил ее и поставил на землю, словно она калека, что и сама спуститься не может. Много лет Нютка бегала по Еловой в простых нарядах, скакала воробышком. Сейчас от нее требовали иного – важничать и привычки деревенские позабыть.

Наряды носила теперь богатые, приятные телу и глазу: бархат, кружево, парча, серебряное шитье. Сапоги мягкие, словно по ее ножке сшитые, бусы в три ряда. Отец на Нюткины наряды копеек не жалел.

По нраву ей пришлась такая перемена: кто ж в своем уме откажется от новых душегрей да бус? Только меньше чуяла Нютка воли. Где друзья, соратники по веселым затеям? Где салки и хороводы? Где смех до упаду и подначки? Все осталось там, в родной Еловой. Она подавила вздох и пошла вслед за Хозяином.

Терем воеводы поражал величиной и богатством. Все балясины[13], перила, столбики с затейливой резьбой выполнены были истым мастером. Гостей встретил веселый слуга, подмигнул Нютке, поклонился отцу и распорядился проводить девчушку в горницу. Та только вздохнула: отчего-то виделось, что пойдет вместе с отцом в покои воеводы.

– Ты кто такая будешь? – круглые насмешливые глаза разглядывали ее словно гусыню, выставленную в клетке на базаре. – Что пялишься на меня, а?

Горницу заливал дневной свет, и всякому становилось ясно, что в семье воеводы заняты делом. Дюжина девок – и у каждой рукоделие, шитье иль вышивка. Ткацкий стан, прялки в руках полной женщины – по всей видимости, хозяйки дома – пяльцы, натянутые полотнища.

Девчонка, что смеялась над Нюткой, полная, крупная, в шитом золотом сарафане и богатой душегрее, одна маялась без дела. То подходила к девкам, то улыбалась хозяйке, то кружила посреди комнаты, надоедливая муха. Корзинка с рукоделием, со спутанными нитками притулилась в уголке широкой, обтянутой кумачом лавки.

– Я с отцом в гости к вам приехала. Ты не знала? – набралась смелости Нютка.

– А кто твой отец? Что у батюшки забыл? К нему всякое отребье не ездит!

– Язык придержи. Отец мой из Строгановых, тех самых, что государевым указом именитыми людьми признаны[14]. – Нютка вспомнила рассказы Потехи о Хозяине, о чести великой. – С отчеством именуются.

– И тебя небось с отчеством? Замарашковна?

– Дочка, сердечко мое, утихомирь свой язык. Девица должна быть мягка и сердечна к гостям своим. – Мать сквернословки не удосужилась даже прикрикнуть на дочь, говорила тихо, плавно, словно песни пела.

Нютка стояла посреди горницы, ощущение собственного бессилия накатило на нее бурной волной – как после прокисших яств в животе поднимется буря, требующая посещения нужника.

– Ты…

– И слова молвить не смей. Я воеводина дочка! Прогневишь меня – и в острог отправишься.

---

[13] *Балясины* – невысокие фигурные столбики в виде колонн, поддерживающие поручни перил, ограждений балконов, лестниц.

[14] Строгановы по указу Василия Шуйского 1610 года получили право зваться именитыми людьми, с отчеством, что являлось большой честью.

– Дура ты, а не воеводина дочка. – Нютка готова была сейчас и в подземелье пойти, и к самому черту в логово, лишь бы проучить зазнайку.

– Дура?! Да ты сейчас поплатишься… – Круглое лицо пошло красными пятнами.

– Хозяйка, – одна из девок оборвала сквернословку на полуслове. Она поклонилась хозяйке и дочке ее, но Нютке померещилась ухмылка на ее худом лице. – Хозяин позвал Лизавету Гавриловну и…

– Ты отчего речи мои обрываешь? Матушка!

– Иди к отцу, доченька. Что-то нехорошо мне. – Хозяйка обмахнула платком полное лицо.

– Гостью тоже звали, – напомнила девка.

– Убогий не гость, – фыркнула воеводина дочка.

Нютка шла за ней след в след, вперилась глазами в красный плат гадкой девчонки. Эх, попасть бы этой сквернословке в Еловую, вмиг бы Илюха ее проучил! Уши надрал бы да не посмотрел, что девчонка. Привыкла всю жизнь за спину отцову прятаться, гадостями всех поливать.

Девчонка обернулась и показала ей язык. Нютка высунула свой, задергала кончиком, подняла вверх да почти добралась до носа – и она не лыком шита.

Горница воеводы оказалась низкой и темной: застелена богатыми коврами, с иконами и сундуками, столом, заваленным всяким хламом. Посреди комнаты – тюк, что везли с собой гости, развязанный, расхристанный, он приковывал к себе внимание.

– Экая лиса, – восхищенно протянула Лизавета, выхватив из кучи шкуру. Сквернословка закуталась в нее, вопросительно уставилась на отца, крупного, кряжистого мужчину, который восседал на широком кресле.

– Дочка, подойди ко мне, – улыбнулся воевода, и Нютка поняла, отчего девчонка так балована. Смотрел на нее воевода Соли Камской и сопредельных земель так, словно являла она собой ангела небесного.

Он потрепал дочку по пухлой щеке:

– Гляди, Степан Максимович, невеста у меня растет.

Отец кивнул и отвернулся, сквернословка, воеводина дочь, мало его занимала. А та не смотрела на отца, зарылась по локти в груду пушнины: серые белки, рыжие лисицы, рыси, богатые соболя… И Нютка сожалела лишь о том, что богатство достанется гадкой Лизавете.

– Дела мы с тобой решили, Гаврила Васильевич?

– Поговорили, пора и за стол. А девчушка хороша! – Нютка оглянулась и поняла, что речь шла о ней. Хороша не хороша, воеводе-то что?

– Жениха предложить хочешь? Рано ей еще. – Строганов сел на лавку и стал качать загнутым носом длинного сапога.

– А ты скажи мне, девчушка эта… Как звать тебя?

– Сусанна. – Нютка гордо выпрямилась и перехватила ехидный взгляд воеводиной дочки.

– Сусанна, хех, – то ли подавился, то ли засмеялся воевода. – Дочь твоя, Степан Максимович? Разные слухи ходят. Иль не дочь? – воевода вглядывался в гостя.

Хозяин ответил. И сердце Нюткино подбитой птицей упало на камни.

3. Горемыки

Ядреный запах мужского пота и застоявшейся мочи ударил в нос, Аксинья закашлялась. Ни разу не довелось ей побывать в клетях, отведенных для строгановских казачков. В обиталище их вела особая дверь, Лукаша с Аксиньей в немудреное хозяйство их не лезли.

– Отчего такой запах стоит? – Аксинья окликнула молодого крепыша, устроившегося за столом.

Тот равнодушно поглядел на нее, разломил краюху несвежего ржаного хлеба и с чавканьем откусил. Крошки повисли на усах и бороде.

– Третьяк! Ему помощь нужна! – Аксинья отдернула одеяло и сморщила нос. И бывалой знахарке тяжело было смотреть на парнишку: без бабьих заботливых рук он, видно, целыми днями лежал в испражнениях, медленно гнил заживо.

– Ах ты зайчик, сейчас. – Она вытащила из-под тощего тельца соломенную подстилку и гаркнула Третьяку: – Иди сюда!

– Ишь, хозяйка нашлась! Кукушка ночная, – бубнил себе под нос. Аксинья расслышала каждое слово да промолчала: всему свой срок.

Третьяк тяжело, с неохотой встал и, припадая на левую ногу, пошел к ложу больного парнишки.

– Как зовут?

– Да вестимо сам приходил. Малым кликали, а во крещении имени не ведаю. На том свете ему напомнят.

– Не каркай тут! Быстрее ты к Господу отправишься.

Третьяк, кряхтя, волоча ногу, дотащил парнишку до хозяйского крыльца. Несуразный, тощий, Малой казался невесомым в его мощных руках.

Аксинья наслушалась слов неприличных, сетований на судьбу тяжкую, что послала ему, больному да изувеченному нехристями, дурную бабу. Тащить покойника незнамо зачем, и нога отнимается…

Под строгим взглядом Аксиньи он принес парнишку в дом и небрежно кинул на лавку. Третьяк долго растирал свою ногу, постанывал, выпросил у Потехи ковш ягодного кваса. Шептал и о доброй чарке вина, но старик не расслышал.

– Спасибо тебе за помощь великую, Третьяк, – Аксинья не скрывала ехидства в голосе. – Больше не потревожу тебя.

– А ногу мою заговаривать да травами лечить?

– На тебе как на собаке все само заживет. Будь здоров.

Аксинья знала, что Третьяк шлет ей сейчас худые да обидные слова, проклинает колдунью, но ей ли привыкать? Она уже забыла про вздорного мужичка. Жизнь молодого слуги находилась в ее руках.

Потеха обнюхал Малого и поцокал языком. Как и знахарка, он понял, что Доля[15] загуляла где-то да забыла про несчастного парнишку, оставила его во власти злой Недоли.

Долго они мыли хворого в корытце, вливали в непослушные губы снадобье, оборачивали усохшее тельце в подорожник, сверху приматывали рогожу. Аксинья шептала над парнишкой тайные слова, не забывая о молитвах.

– Дед Потеха, имя-то какое у бедолаги?

Дед пошевелил губами, прочесал лысый затылок, молодо хихикнул:

– Имечко такое, незвучное… Вспомнил! Ананием матушка назвала.

---

[15] *Доля* и *Недоля* – по славянским представлениям, две девы-пряхи, что определяли судьбы людей.

Аксинья и сама не сознавалась себе, что чернявенький, юный, измученный парнишка напомнил ей Матвейку, ненаглядного братича.

* * *

Хоромы Строганова располагались в самом в конце безымянной улицы, на левом берегу Усолки. Одной стороной дом упирался в глубокий овраг, к другой прилепились усадьбы и амбары, потемневшие от времени, в них соледобытчики хранили свои запасы. Через дорогу, на другой стороне улицы, раскинулись владения старого купца и достаточной семьи, много лет служившей государям. Старики доброжелательно кивали при каждой встрече всякому; хозяева второго дома, люди непростые, на Аксинью и не глядели.

Она и не сокрушалась о том.

Здесь, в Соли Камской, жили куда свободнее. Не спрашивали о всяком шаге, не вытягивали шеи, разглядывая застиранные порты. За высоким забором и спится слаще.

Аксинья быстро привыкла к огромному дому, малой горнице с мягкой периной, печи, где можно было приготовить три дюжины пирогов и хлеба на всех домочадцев. В светлице наверху так славно было проводить вечера вместе с дочкой и Лукерьей. В клетушке Потехи она перебирала травы и коренья. Погреба, амбары, хлев, птичник, сенники – она выучила наизусть всякий уголок строгановского дома. Словно хотела остаться здесь навсегда…

Степан не глядел на нее и слова о том не молвил. А неизвестность для бабьего сердца – худший яд. Аксинья терпела, опускала глаза и верила: уйдет стылая зима, и станет легче.

* * *

Но весна не спешила прилететь на Солекамскую землю. Накануне Благовещенья Богородицы[16] выпал снег. Сугробы громоздились, словно не ведали о том, что скоро побегут они по дорогам и склонам, затопят овраги и лощины.

– Мамушка, ты скучала по нашей деревушке?

Аксинья прокашлялась, словно в горле что-то мешало дать правдивый ответ.

– Нютка, сколько здесь лет прошло, сколько воспоминаний худых да хороших…

Но умолчала она, что устала оправдываться, ждать оплеухи или шепота в спину, устала жить там, где изведала много худого. По родным берегам скучала, по Усолке, покрытой льдом, по избушке, что пряталась в лесу, недалеко от деревни. По тем, кто любил ее, поддерживал и ждал подмоги: Георгий Заяц, вся его неспокойная семья, Настя, вдова Никашки, Неждан.

– А я соскучилась, – протянула Нютка. Мать услышала за этими словами нечто большее, чем тоску по родным местам.

Который день дочь ходила хмурая, нерадостная, на все расспросы отвечала угрюмым молчанием. Но весна вступит в свои права – и Аксинья достучится до строптивицы.

Дорога блестела на солнце, шитая серебром. Нютка напевала, подскакивала на лавке, не в силах сдержать радость – мать не одергивала ее, только улыбалась и подставляла лицо зимнему солнцу.

За поворотом открылась Еловая, дорога пошла с горы, Хмур придержал разогнавшихся меринов. Навстречу им лениво поднимался белый в рыжих подпалинах жеребец, Аксинья всматривалась, да не могла узнать: под овчиной возницу не разглядеть.

---

[16] *Благовещенье Богородицы* – христианский праздник, 25 марта. (*Здесь и далее даты даются по старому стилю.*)

– Домой возвращаешься иль погостить приехала? – Под шкурой прятался еловской староста, Яков Петух. Он сбросил овчину, улыбался знахарке, словно дочери родной, даже привстал, пытаясь поклониться.

– По местам родимым соскучилась. – Аксинья не могла скрыть растерянность в голосе. Никогда не слышала она такого радушия в голосе вредного старосты.

– И верно, надобно в родные края приезжать.

– Как Настюха, как внучка, все ли хорошо?

– Да что им, у нас с матерью живут, как у Христа за пазухой. Внучка горластая, егоза. И жениха Настюхе приискали. С первым промашка вышла, окаём[17] да пьяница. Авось со вторым повезет, – разговорился Яков.

Мерины недовольно крутили головами. На покатой дороге их охватывало одно желание: мчаться вниз словно ветер. Хмур натягивал вожжи, лишь бы удержать ретивых.

– Рад повидаться, – цвел новой улыбкой староста.

Что за диво приключилось в Еловой? Аксинья чуть не фыркнула вслух, представив, что в родной деревушке все кланяются да радуются встрече с ведьмой. Лихорадка напала на односельчан? Грибов ядовитых наелись на исходе зимы?

И верно, наелись.

Односельчане, завидевшие сани, подходили, ласково здоровались, расспрашивали о делах, восхищались отороченной зайцем душегреей… Словно не грешницей – праведницей слыла, не ведьмой – богомолицей.

Хмур остановил сани возле ворот Георгия Зайца. Аксинья влетела туда любопытной синицей, столкнулась с Тошкой, вскрикнула от радости.

Дочь затеяла возню с детворой. Беготня, смех, визг: во дворе Зайца всегда хватало ребятишек. Гошка Зайчонок, как всегда чумазый и жизнерадостный, пятилетний Гаврюшка, мелкая Филька… Нютка получила то, чего ей так не хватало в скучной Соли Камской.

После долгих объятий, расспросов, вороха новостей, что высыпал на нее любимец, спросила о главном:

– Отчего ж это все полюбили меня? Что изменилось, скажи мне, Тошенька?

– Хах! А ты не знаешь, Аксинья? Удивила! – Тошка щурил свои темные глаза, складывал губы в ехидную усмешку.

Какой красавец вырос, крепкий, темнобровый, с норовом! От такого девичье сердце замрет – и забьется пуще прежнего. Похож, чертяка, на отца своего Григория. Да только тот дерганый, ломаный, с темным дном – Тошка светлей, открытей, улыбка у него широкая, солнечная.

– Что ж ты тянешь кота за хвост, изверг? – шутливо возмутилась знахарка.

– Мамушка, мамушка, отец мой теперь Еловой владеет! – Нютка заскочила в избу, прокричала так, словно хотела, чтобы каждый в деревушке услышал.

Царь отдал Еловую да пару десятков других деревень возле Соли Камской Максиму Яковлевичу Строганову. Были свободные крестьяне – стали холопами[18]. Давеча писчие людишки приезжали, бумажками трясли, говорили, сколько зерна должны еловчане отдать, когда за солью съездить. Заплакала деревня, затосковала по былому. Да только жить ей отныне несвободной. «Под каблуком Строганова», – горько усмехнулась Аксинья.

---

[17] *Окаём* – отморозок, плохой человек (*устар.*).

[18] *Холоп* – так именовали домашних слуг, но в широком смысле холопы – зависимое население.

* * *

Нютка и Гошка Зайчонок убежали – раз, и след простыл. Соскучилась дочь по забавам деревенским, по друзьям своим ненаглядным. Аксинья не стала звать озорницу, разыскивать, кричать на всю деревню. Пора наведаться в свою избушку, забрать немудреный скарб.

На санях вмиг домчались до конца единственной улочки Еловой. Экая барыня выискалась, ножками по снегу глубокому ходить не может… Человек к хорошему быстро привыкает, к холе да неге, говорила себе Аксинья.

Коля Дозмор, добродушный пермяк, что волею судьбы оказался занесен в русскую деревню, помахал Аксинье, растянул щербатый рот в искренней улыбке.

– Оставим сани у твоего двора?

– Мыйнö[19], – затряс лохматой головой пермяк. – Напою, сена дам.

Хмур шел впереди, протаптывая большими сапогами тропу в рыхлом снегу. Дорога до знахаркиного дома тонула в сугробах: незачем теперь ходить сюда еловчанам. Аксинья зачерпнула снег, недостаточно высокими оказались ее коты[20] из толстой свиной кожи.

Когда Аксинья и Хмур добрались до крыльца, уже перевалило за полдень. Изба встретила их стылостью и обиженным молчанием. На печи остался горшок с кашей, на сундуке скукожилась Аксиньина рубаха. Иней проник в избу, засел по бревнам и лавкам.

– Печь? – Хмур всегда был немногословен.

– Давай обогреемся. Я озябла, да и ты – не противься – устал.

Хмур скривился, словно сама мысль, что он может проявить слабость, казалась ему оскорбительной. Он сноровисто растопил печь, в каждом его движении чувствовалось удовольствие от немудреной работы. Аксинья поставила в зев миску с водой, а сама косилась на Хмура. Невысокий, по-отрочески стройный, он выглядел ее ровесником. Прозвище дали ему служилые неспроста. Никто не видел улыбки на лице Хмура, не слышал его смех. Хмур всегда казался сосредоточенным на деле. Голуба доверял ему самые важные поручения, относился к нему с большим уважением, да за спиной посмеивался: рядом с Хмуром и парное молоко скиснет.

Аксинья рылась в сундуке, вытаскивала из клети все самое нужное: драгоценный Вертоград с рецептами снадобий, травы, одежонку, Нюткино приданое. Она сложила горкой скарб: вышло совсем немного. Скудны запасы бедняка, не надорвешь живота перенося. В избе потеплело, сразу заплакали бревна, засочились влагой стол и поставцы – таял иней.

Знахарка заварила кипрей, подождала, пока трава отдаст свою силу кипятку, протянула канопку мужчине. Хмур кивнул, взял в руки теплую посудину.

– А человека просто отравить? – Он задал вопрос, не глядя на знахарку, а она закашляла, подавившись отваром.

– Все худое просто сотворить, да непросто с совестью потом договориться.

Она подошла к нему ближе и не утерпела, задала вопрос:

– Слышала я, с женой твоей беда. Помочь чем?..

– Моя беда и есть. Не лезь в душу.

Он поставил канопку с двумя глотками отвара на донце и вышел во двор. Лукерья сказывала: жена Хмура, молодая ядреная баба, слегла много лет назад: сначала не двигались ноги. Потом руки перестали слушаться. Она не узнавала мужа, родных, лишь тонкая нить держала горемычную в этом мире.

---

[19] *Мыйнö* – да (*коми-перм.*).

[20] *Коты* – женская кожаная обувь, полусапожки.

Ужели со злым умыслом Хмур вопрос задал? Всю обратную дорогу до деревушки Еловой Аксинья не могла избавиться от дурных мыслей, вглядывалась в насупленное лицо мужика, словно могла прочитать, что там творится, под суконной шапкой.

* * *

Дозмор ждал Аксинью возле саней, и рядом с ним топтал снег крепыш лет четырех.

– Неждан, как вырос-то! – Аксинья опустилась на колени перед парнишкой.

Дитятко! Первый месяц Неждан провел на знахаркиных руках, она поила теплым козьим молоком, тетешкала, пела колыбельные и жалостные песни про Агашу, покойную мать.

– Забирай зонку[21]. – Коля насильно впихнул в руку Аксиньи холодные мальчишечьи пальцы.

Она выпрямилась и теснее сжала робкую лягушачью лапку: казалось, Неждан холоднее воздуха, что вливался в глотку острыми льдинками.

– Ты чего?

Дозмор тараторил на родном языке, и Аксинья не могла различить ни слова. Понимала лишь, что речь идет о чем-то плохом, грустном для мужика, его глаза подернулись влагой.

– Я не понимаю, Коля, говори по-русски.

– Умерла хозяйка. Жена, видно, у него умерла. – Хмур нежданно выступил в роли толмача.

– Зоя быри, – кивнул Дозмор.

– А дочка ее где?

– Приехали гортсаяс. Зойку забрали.

– Родные взяли, – перевел Хмур и так ясное.

Коля Дозмор еще долго рассказывал Аксинье, что он остался в Еловой лишь из-за Неждана, все думал, куда пристроить мальца. Сам пермяк решил вернуться в родное селение, семья простила прегрешения незадачливому пермяку; шаман, которого он крепко обидел, умер. Но мальчишке нельзя жить с Колей. Новый шаман разглядел в нем что-то опасное и объявил, что белоголовый может навлечь опасность на весь род.

Аксинья слушала речи пермяка в скупом переводе Хмура, силилась понять: правду говорил ей Дозмор или врал, желая сбагрить мальчонку? В конце концов, какая разница? Неждан вновь оказался лишним.

– Пойдешь со мной? – Аксинья улыбнулась парнишке.

Видно, малец еще не научился говорить, в ответ вякнул нечто похоже на «Га» и, вырвавшись из ее рук, крепко обнял Дозмора.

– Прощай, зон…

– Был бы сыном, так не бросал на чужих людей, – расщедрился на речи Хмур.

Коля Дозмор насилу отлепил от себя мальчишку, прошептал ему что-то на ухо и бережно подвел к Аксинье. Хмур с презрением поглядел ему вслед.

– Он не родной отец мальчишки. Ты, Хмур, не осуждай… Если бы не Коля Дозмор, Неждана бы и на свете не было.

– Ежели мужик бросает тех, за кого отвечать должен, – грош ему цена. – Хмур небрежно закинул котомку Аксиньи в сани, поднял парнишку, укутал в толстую овчину. Аксинье помощь никто не предложил, она забралась в возок сама, путаясь в длинных юбках.

– Мамушка, про меня не забудь! – Розовощекая запыхавшаяся Нютка бежала по улице, следом мчались Гошка Зайчонок, Илюха и Ванька Петухи.

---

[21] *Зонка* – мальчик (*коми-перм.*).

Аксиньина дочь всегда находила общий язык с мальчишками. Она с охотой играла в опасные игры, смелая, упрямая, не походила на осторожную мать. Илюха Петух, видно, чуял в ней эту силу, бесстрашие и относился к ней по-особому.

– А я уж думала, здесь ты, дочка, останешься.

– Тетка Аксинья, здравствуй! – крикнул Илюха громче, чем следовало.

Нютка забралась в сани, продолжала весело галдеть, рассказывая друзьям о своем житье. Мальчишки обступили добрых холеных меринов, гладили их богатые гривы, заглядывали в добрые глаза, легонько щипали бока.

– Отошли. П-у-ць-ць-ць! – выдохнул Хмур, и сани споро покатились по дороге.

Деревенские мальчишки бежали за санями, как молодые ретивые псы. Но быстро отстали, запыхались, сели прямо на заснеженную обочину. А настоящий пес, черный, словно уголь в печи, с громким лаем мчался за санями. Он всем видом своим показывал: умру, да только бежать и дальше буду!

– Хмур, останови!

Мужик выразительно хмыкнул, но выдохнул: «Тпру-у-у», мерины послушно остановились. Пес запрыгнул в сани со всего маха, щедро засыпав седоков снегом и шерстью. Он скулил, крутился от Аксиньи к Нютке, успевал, казалось, ластиться сразу к обеим хозяйкам, лез шершавым языком прямо в лицо, смахнул с лавки узел с вещами, топтал длинные юбки. Пес был счастлив.

Сани тронулись, вкусно поскрипывая полозьями.

– Черныш! Чернышенька! – Нюта заливалась радостным смехом, прижимала к себе зверюгу, чесала его грязный, усеянный соломой затылок.

Аксинья улыбалась, глядя на дочку, ворошила лохматый бок и молчала. Она даже не вспомнила о псе, оставленном Зайцевым-Федотовым, не спросила Тошку о судьбе лохматого беса. Но Черныш, бескорыстный и любящий, не укорял ее, не ворчал.

– Чеш, – лепетал Неждан, осторожно касаясь черного хвоста.

Щедрый пес и его осенил любовью. Провел розовым языком по чумазой мордахе, словно говоря: «Теперь ты наш».

4. Законная добыча

После поездки в Еловую Аксинья выслеживала Строганова, как охотник сторожкого соболя. Еще до зари Степан уходил по делам – их за последнее время прибавилось. Ночью приходил поздно, после того, когда дом уже засыпал. Казалось, что Хозяин находился в каком-то ином месте: так редко видели его обитатели хором.

Дождавшись, пока Нюта уснет, Аксинья взяла свечу, накинув на ночную рубаху теплый летник[22], пошла туда, где быть ей не следовало. Без Степана покои казались пустыми и неопасными. Аксинья поставила подсвечник на стол, с любопытством вгляделась в письма и бумаги, прихотливо разбросанные неряшливым хозяином.

Отписки от дьяков, грамоты от воевод, списки с рухлядью и длинным перечнем снеди, оружия, пороха… Она шевелила губами, всматриваясь в убористые строчки. Неровный свет – и вереница дел проходила пред нею. Бесконечные тяжбы, походы, жалованье казачка́м, челобитные сотников… Как же разумом все охватить?

Аксинья вспомнила добрым словом травницу Глафиру, передавшую обычной крестьянской девчушке азы грамоты. Обычный ход жизни не доставлял неудобства тем, кто не разумел мелких козявок, рассыпанных по бумаге или бересте. Чаще всего Аксинья не задумывалась о своем даре. Но сейчас, перебирая письма, ощущала свою странную причастность к делам Степана лишь оттого, что могла прочитать все, разбросанное на столе, кроме самых путаных речей.

Треть свечи обратилась в текучий воск, Аксинья все раскладывала грамотки и отписки: за этой забавой она потеряла счет времени. Хозяин не спешил вернуться в свои покои, а Аксинью одолевала дремота. Она скинула летник и скользнула под теплое, подбитое волчьей шкурой одеяло. Уж давно шептались все, что знахарка проводит ночи в постели Строганова. Здесь она и останется.

Мех согревал, и в стылой горнице Аксинью охватил жар. Она выпростала из-под одеяла ногу, ловя холод разгоряченной плотью. Аксинья завозилась, ища удобное гнездышко, скоро поняла, что в горнице не одна. Тьма казалась непроглядной. Вовсе не жар, но тихий стук медленно снятых сапог, шорох одежды разбудил ее чуткое ухо. Она хотела встать с постели, приняв подобающий вид, поговорить со Строгановым. Или не хотела?

Он не дал времени на размышление, быстро сдернул одеяло, застыл, глядя на незваную гостью. Рубаха закрутилась вокруг ног, обнажая коленки, волосы разметались вокруг лица. Темнота должна была скрыть непотребство, но волк видел все. Аксинья ойкнула, попыталась поправить рубаху. Он, прошептав что-то неразборчивое: «Ведьма?» – лег на нее, прижал своим телом и – раздавил волю. Как всегда.

После той ночи Аксинья ждала его яростного внимания, горячих рук – руки, шарившей по телу. Что бы ни говорила Лукаше, Потехе и себе, она тосковала долгими зимними ночами по насмешливому голосу, по дерзким губам. Предвкушение разливалось по жилам ее, когда охальник был рядом.

Находила ли тоска отклик в Степановом сердце, бог весть. Но движения ласковых пальцев, чертивших буквы на его напряженном животе, находили. Ее губы, язык, подчинявшиеся сначала настойчивой воле мужчины, а потом затеявшие свою игру, и грудь с животом, внезапно лишившиеся всякой защиты и прижимавшиеся все теснее к нему, и бедра, стосковавшиеся по похоти, блудодейству, находили.

Она двигалась вместе с ним, и пот с лица капал и капал, и что-то горячее и неотвязное подступало к Аксинье, клубилось в животе и ниже него, настолько мощное и страшное, что

---

[22] *Летник* – старинная летняя женская одежда с длинными широкими рукавами.

она попыталась вырваться, но где там! – и с одной рукой Степан держал ее – как волк законную добычу.

– Ты чего? – соизволил он разомкнуть уста, не дал ответить, вновь впился губами.

Шуя обхватила Аксинью, подтянула еще ближе, еще теснее – и что-то обрушилось на нее, закрутило, сжало, смело́. Потом она ощутила, как тяжел Строганов, навалившийся всей плотью, как слиплись они, словно пропитанные медом пряники, как вдавливается в ее грудь мешочек с косточками, что висел на Степановой шее.

Отпустил ее, скатился с Аксиньи и, кажется, в то же мгновение стал дышать ровно, провалившись в счастливый сон.

Знахарка понимала умом своим, что нужно уходить. Не получилось разговора – Бог с ним, найдет еще время. Но место рядом со Степаном казалось таким уютным, а постель такой мягкой… Она прижалась всем телом к мужчине и спокойно уснула.

Еще не наступил рассвет, а она уже ощутила горячие касания губ на своей спине, страстная пляска прошедшей ночи продолжилась, став лишь чуть медленнее и ласковее. Аксинья, наверное, лишь сейчас, в предрассветном угаре, растекаясь негой по мягкой перине, поняла, что вся ее история со Степаном, незаконным, признанным сыном Максима Яковлевича Строганова, не случайна. Послана была ей то ли на счастье, то ли на беду, перевернула всю жизнь…

Степан. Слезы и глубокая обида – кулаком в сердце. Но и спасение, страсть, тот высокий заплот[23], возле коего она может перевести дух.

Утонув в мыслях, она не ощутила бури, лишь спокойную радость: он рядом с ней, и сыт, и доволен. Когда Степан отдышался, потянулся, словно довольный кот, погладил мимоходом ее бедро, Аксинья осмелилась завести разговор, ради которого и пришла в покои:

– Степан, я в Еловую ездила. И там… Не рассказывал ты, что моя деревня вошла во владения Строгановых.

Он натянул порты – ловко, хоть орудовал одной рукой, повернулся к ней и хмыкнул, но без злости в глазах:

– Твоя деревня? Думалось, что моя… Видно, позабыл, что отчитываться пред тобою должен.

– Хотела я просить милости. Вольную дать одному парню.

– Начну всем вольные раздавать, кто на земле работать будет?

– Степан, прошу тебя. – Аксинья коснулась его плеча, поросшего светлым, почти прозрачным волосом.

– Отчего так просишь за него? Шашни были?

– Степан, что за домыслы? – Он умел вернуть на землю, как никто другой. – Тошка мне словно сын родной.

– А второго сына ты в мой дом привела? Ишь развела сыновей! Только своего нет.

Другая бы, молодая да глупая, в словах мужских укор услыхала или намек, да Аксинья вдоволь наелась обещаний, знала им цену. Пропустила слова Степановы, будто не слышала.

– Хорошо, воля твоя. Ты позволишь Неждану жить у нас?

– Неждан? Да пусть живет малец, поди не объест.

Порой Усолка не промерзала до середины зимы. Так, тонким ледком покрывалась опасным, манким. Детвора норовила побегать по нему. Да ледок не выдерживал – и озорник нырял в эту ледяную воду. Разговор со Степаном – словно хождение по льду Усолки. Никогда не знаешь – пройдешь иль провалишься в обиталище сонных рыб.

[23] *Заплот* – забор.

* * *

Аксинья бережно разложила на сундуке Вертоград – старый лечебник, доставшийся от Глафиры. Страницы потемнели от времени, кое-где мыши погрызли углы, не заботясь о том, что книга драгоценна. Телячья кожа, защищавшая лечебник от времени, стала основой для похлебки: в смутные время Аксинья выварила все съедобное. Но снадобья, бесчисленные советы монахов, травников разных стран и народов остались нетронутыми.

Свеча плавилась, время текло незаметно. Аксинья устала разбирать убористые строки с прихотливыми буквицами: она искала средство, что принесло бы облегчение Малому.

– Пей, золотко мое, пей! – Ложечкой вливала в обметенные потрескавшиеся губы отвар, темный, горький, словно судьба мальчишки.

– Не жилец он, Аксинья, оставь в покое. Попа надобно звать, а не снадобья ведрами вливать.

– Потеха, не ворчи под ухо.

Старик крякнул недовольно. Неждан устроился на лавке рядом с Малым, гладил того по холодной руке, вздыхал и смотрел на Аксинью с надеждой. Потом забывался, принимался что-то лопотать, неразборчиво петь. Она лишь улыбалась: хворый был в том состоянии, когда разговоры да смех не мешают, а могут стать той ниточкой, что вернет в мир живых.

Малой заворочался, зашептал какой-то вздор, махнул резко рукой да выбил из рук Аксиньи плошку с отваром. Трава намочила светло-лазоревый подол, плошка укатилась под лавку, самой знахарке хотелось лишь залезть в дальний уголок и реветь, утирая слезы рукавом.

– Молодой да крепкий. Борись с хворью, сражайся с ней, – с неожиданным гневом выговаривала она парнишке. Темные полукружья под глазами, заострившийся нос – Малому становилось хуже с каждым днем.

Берлога Потехи из захламленного жилища одинокого старика превратилась в самое оживленное место дома. Аксинья приходила несколько раз в день с новыми снадобьями и мазями, ее знахарское сердце не могло поверить в тщетность усилий. Следом стала прибегать Нютка: Малой, почти ровесник, вызывал у нее жгучее любопытство.

– Матушка, он умрет? – спрашивала Нютка с сожалением. – Могли бы по двору бегать да играть в салки… А так и не узнаю его.

– Нюта, он стоит на границе меж жизнью и смертью, а ты про забавы думаешь! – Ребячливые слова Нюты порой раздражали Аксинью до крайности.

Нютка фыркнула и выскочила из клети.

Дочь не желала набираться разума, житейские и знахарские секреты, что мать пыталась передать, ее не занимали. Песни, затейливые рассказы служилых, детские игры, наряды, отцова любовь – вот и весь скудный круг дочкиных дел и потешек.

– Потеха, что ж я не так делаю? – Никому, кроме доброго старика, Аксинья не смогла бы задать этот вопрос – уста бы не вымолвили такого.

– Ты, сама знаешь, умница да разумница. Ничего худого ты не делаешь, окромя того… – Потеха натолкнулся на растерянный взор Аксиньи, и последние слова утонули в его беззубом рту. – Разные вы с дочкой птицы, в этом весь сказ. Ты – мудрая да рассудительная ночная птица, меру знаешь, но когти да клюв острые, в гневе необузданна. А она у тебя – птичка утренняя, певчая, щебетать любит, по веткам порхать, от тягот бежит, да не ведает…

– Того, кто от тягот бежит, они сами найдут, – продолжила Аксинья. – Не приведи Бог. Защити дочку мою, покровительница Сусанна Солинская[24].

– Отец ее лучше всех защитит.

---

[24] Аксинья искажает имя Святой Сусанны Салернской.

Аксинья удержала при себе возражения да обиды. Мудрая ночная птица должна уметь промолчать.

– Аки… Аки!

– Что, внучок? – Потеха взял за грязную ручонку Неждана, улыбнулся ему, словно тот действительно приходился ему родней.

Неждана по указанию Строганова разместили здесь же, у старика. Аксинья пыталась возражать, спорила с Хозяином, напоминала про малый возраст мальчонки.

– Пусть с мужчинами живет, – ответствовал Строганов. Он, как всегда, мало обращал внимания на чье-то мнение.

Впрочем, мальчонка был здесь счастлив. Аксинья глядела на Неждана, вспоминала несвязные рассказы Агаши, оторопь Игната, получившего в руки нежданного сына. Зоя, жена Игната, воспитывала мальца и тешила свою ненависть к нему. Не баловала жизнь Неждана, репейником цеплялась к нему, раздирала в кровь: не помнил он ни матери, ни отца, рос в грязи и хворях, лишь жалость Дозмора, добросердечного пермяка, и знахарки Аксиньи вернула его с того света.

– Что разговорился-то? – Аксинья погладила Неждана по круглой вихрастой голове. – Потеха, ты недавно хворал, а на тебя такое хозяйство повесили? Не утомили тебя Малой да Неждан?

– Один на лавке лежит в беспамятстве, другой бегает да прыгает, улыбается – вишь как! – Потеха щипал Неждана за нос, тот уворачивался, пытался дотянуться до старика, оба получали несказанное удовольствие от незатейливой игры. – Своих внуков редко вижу, так хоть они пусть радуют.

– А Малой-то очнулся! Смотри! – Аксинья опустилась на колени перед лавкой, где лежал парнишка. Темные короткие ресницы его трепетали, рука шарила по постели, словно пыталась что-то поймать.

5. Большой дом

Большой дом – большая морока.

В большом дому чего не хватишься – того нет.

Лишь сейчас Аксинья, скромная крестьянка из деревушки Еловой, поняла, что скудная изба приуменьшает хлопоты. Огромный строгановский дом вытягивал из Аксиньи и Лукаши все силы. Два полных дня посвящали они уборке трех ярусов, на кладовые да амбары сил не оставалось.

Лукаша сейчас дохаживала последние дни, каганька должен был скоро явиться на белый свет. Огромный живот мешал ей не то что хозяйством заниматься – ходить и сидеть. Аксинья от тяжелых работ подругу отгоняла, заставляла строгановских слуг, того же Третьяка, таскать дрова в дом, носить воду и припасы из кладовых. Но каждый вечер ощущала: сил все меньше.

Аксинья обшарила все кладовые, амбары, коих насчитала не меньше двух десятков. Сколько было здесь припасено! Лари с ячменем, овсом, рожью, пшеницей. Целые короба с сотами цветочного меда. Окорока и копченые туши, связки гусей и уток, дичи. Нити, унизанные сушеными белыми грибами, красноголовиками, лисичками. Бочки с солеными груздями, рыжиками, волнушками. Моченая брусника, вареная на меду земляника, малина, смородина, черника.

Люди ходили сюда нечасто, а четвероногие протоптали дорожку. Следы помета, шерсть, тени, прятавшиеся под ларями, и, самое главное, следы зубов на припасах ввергали Аксинью в глубокую печаль. Ей, прошедшей через голод и бескормицу, казалось настоящим преступлением так обращаться с самым необходимым на свете – пропитанием. Для избавления от пакости расставляли ловушки, развешивали смрадные травы: пижму, полынь да чернокорень. Но мыши и крысы продолжали свои разорительные походы. Лишь одна хитрость могла помочь в этой неравной борьбе, и Аксинья решила не откладывать в долгий ящик.

– Нюта, я на рынок поеду. Ты со мной? – Она не так часто оставалась теперь наедине с дочерью, скучала по их неспешным беседам, по дочкиным улыбкам и утреннему писку.

– Лучше с Малым посижу. – С той поры, как парнишка очнулся, Нютка не отходила от хворого. Они тихо разговаривали, делились секретами, словно давние друзья, но стоило кому-то из взрослых зайти в клеть, замолкали. Малой еще не вставал с постели, темные полукружья вокруг глаз, слабость, приступы головной боли напоминали о том, что парнишка чудом вырвался из цепких лап смерти.

Аксинья так и не признала хворь, что накинулась на Малого. Но чудесное его выздоровление приписывала травам, уходу Потехи и неусыпному вниманию Нютки. Может, вырастет из дочки травница?

– Нютка, в ряды пойду, где перцем, гвоздикой торгуют. А как без тебя-то?

– Мамушка, за Малым и дед Потеха приглядит. – Нютка, подпрыгивая, побежала по лестнице, задирая подол сарафана выше, чем следовало. Аксинья в который раз напомнила себе, что с дочкой пора говорить о приличиях и присущей девице повадке. Сорванец, а не будущая невеста!

* * *

Третьяк, как самый бесполезный для хозяйства, был снаряжен с Аксиньей и Нюткой. Он нарочито хромал, долго усаживался на козлах, неприязненно косился на Аксинью. Она будто слышала, как повторял он не то в мыслях, не то вслух: «У, ведьма проклятая».

Впервой ли было Аксинье сталкиваться с нелюбовью да презрением? Полжизни слышала за своей спиной шепотки, проходила сквозь туман недобрых взглядов. Ее беспокоил вовсе не Третьяк, вздорный, непригожий мужик.

Сусанна, синеглазая дочка, прыгала по лесенкам, шутила, ворковала, смеялась, стала похожей на себя прежнюю. Только змеилось в ней что-то неясное, смутное, глубинное, и мать силилась вытащить за хвост эту гадюку.

– Нютка, ты отчего кручинишься? Расскажи матери.

– О, гляди, какие сани чудные, расписные. Словно царские!

– Царям в наших местах делать нечего… Нютка! – Аксинья повысила голос, не вспоминая о недоброжелательных ушах возницы. – Кто обидел дочку мою?

– Мамушка, никакой обиды. Мне скучно.

Откуда в Нюте бралось это упрямство, это доводящее до бешенства желание настоять на своем? Аксинья хорошо знала свою дочку – еще бы не знать! – и чуяла: сейчас Нютка ни слова не скажет.

– К торговым рядам подъезжай, – Аксинья сказала повелительно, словно хозяйка, и на миг смутилась, а потом прогнала сомненья: – Да с северной стороны, поближе к входу.

– Будто без тебя не знаю, – огрызнулся Третьяк.

Солекамский рынок за последние годы разросся, заполнил всю торговую площадь, выпучился лавчонками на соседние улочки, в подклете каждого дома бойко продавали самый разнообразный товар. Кувшины, мечи, стремена, котелки, битая дичь, ретивые жеребцы, шелка, пряности, рыба, сено, квас, калачи… Крики торговцев сбитнем, обрывки разговоров, ругань тех, кто так и не договорился о цене, смех, довольные женские глаза.

Россия, словно израненная орлица, восстанавливала силы и крепла. Михаил Федорович Романов со всем пылом молодого горячего сердца вел страну к процветанию. Аксинья мало что разумела в делах больших, государственных – для того царь, бояре да великомудрые дьяки есть. Но даже скудного ее ума достаточно было, чтобы обозреть путь, пройденный Россией, – от тягот Смуты до нынешнего довольства.

– Слыхали, опять пятину собирают. Крохоборы!

– Все деньги с нас высосут да на помойку выкинут, – поддакивал куцему мужичонке второй, дородный, осанистый.

– Неспроста у царя беда с невестой[25]. Наказанье Божье ему, все за страдания людские.

– Вот дурень. Забыл, кто до него был? Самозванцы да воры?! По рылу тебе бы заехать!

Аксинья продиралась сквозь толпу, дочь крепко сжимала ее пальцы. В торговый день на базаре всякого люда довольно. Зеваки, болтуны, скоморохи, воры, нищие запрудили площадь, пройти сквозь их плотную завесу – как через заросли шиповника продраться. Аксинью ощутимо толкнули, Нютке чуть не оборвали жемчужные нити на шапке, а Третьяк, что должен был облегчать их путь через людское море, куда-то запропастился.

Аксинья увидела пустую лавчонку, затащила Нютку и привалилась к дощатой стене. Ее глаза еще не успели привыкнуть к мягкой полутьме, а Нютка уже завопила:

– Мамушка, какие запахи!

Да, в этой лавчонке царил невозможно густой, ни с чем не сравнимый аромат. Аксинья вдыхала его и ощущала на языке пряности, церковные благовония, лесные травы и нечто незнакомое, слишком душное, терпкое. На поставцах скромно стояли бутыльки, скляницы, кувшинчики. Каждый из них источал особый запах.

Нютка подошла к ближнему поставцу, прежде чем мать успела одернуть ее, взяла в руки крохотный кувшинчик, перевязанный полоской льна.

---

[25] Михаил Федорович в 1616 году избрал невестой своей Марию Хлопову, дочь коломенского дворянина. Его матери выбор пришелся не по душе, и вскоре Марию объявили больной и отослали из Москвы.

– О! Словами описать не могу!

– Глаза закрывай, вдыхай – слова придут.

– А-а-а… – Кувшин выпал из ее рук, глухо шлепнулся на земляной пол, покатился. Аксинья и Нютка, оцепенев, глядели, как распутался лен и выпустил на волю густую жидкость.

– Я не нарочно. – Дочь подняла кувшинчик. На светлых половицах расплылось жирное пятно.

– Мы все оплатим! – крикнула Аксинья в пустоту.

– Какая суета, не плачьте, красавицы! – Низкий голос заполнил всю лавчонку, неожиданно громкий, он казался голосом не человека – существа из сказок, да притом иноземных.

Хозяин лавки, мужчина лет сорока, оказался столь же мощным, как и его голос. Широкие плечи, огромный живот, рост под три аршина, нарядный кафтан с золотым тиснением – от него нельзя было оторвать взор.

– Сколько? – Аксинья в который раз с благодарностью подумала о Степане: теперь она могла не трястись над каждой копейкой.

– Покупай другой запах. Разлитый твоей прекрасной дочкой кувшин в подарок. Волшебное дерево сантал[26] для вашей радости. Агапка Ибрагимов к вашим услугам, госпожи. – Он поклонился удивительно ловко для грузного тела.

– Нютка, выбирай. Только будь осторожна, крепко держи в руках.

Дочке не нужно было повторять дважды: она переходила от поставца к поставцу, обнюхивала каждый кувшин. Иные кувшинчики задерживались в ее руках надолго, иные ставила на полку тотчас же, безо всякого интереса. Аксинья шла за дочкой, словно ее внимание могло уберечь дочку от неосторожного движения.

– Госпожа, смотри. Вот что тебе по душе придется. – Торговец вытащил на середину лавки скрыню[27], неказистую на вид. Его пальцы ловко нажали на незаметные выступы, Аксинья на миг зажмурилась, увидев содержимое скрыни.

Перед ней сияла сокровищница. Серьги и подвесы, ожерелья, кольца, браслеты всевозможных, самых прихотливых очертаний сверкали на темном бархате. Какое женское сердце смогло бы устоять!

– Смарагды[28] из Индеи. Гляди: ярче весенней травы, глубже морских вод. – Толстыми пальцами он ловко вытащил из гнездышка кольцо и крутил его перед самым носом гостьи.

– Как красивы! – Взяла чудную вещицу в руки. Не встречала такого мастерства: напоенные красками иных земель, камни переливались, отражая огни светильника.

– Фирюза, говорят на родине моего отца.

– Бирюза. – Аксинья взяла в руки прелестное ожерелье и вспомнила вещицы, что украшали когда-то юную шею.

Она не ходила в замарашках, знала толк в красоте. Целую жизнь назад жена кузнеца Григория Ветра могла себе позволить украшения. Да только давно ушли те года, та любовь… На чьем пальце то кольцо с бирюзой, чью шею обвивают те длинные бусы?

– Червленый яхонт[29]. Такой пристало носить боярыне или той, что завладела сердцем богатого мужчины. – Купец смежил припухшие веки и скорчил довольную гримасу, будто он покорил того богача.

Аксинья отвела руку с серьгами несказанной красы. Не нужно искушать сердце роскошью: всяк сверчок знай свой шесток.

– Нютка, ты выбрала?

---

[26] *Сантал* – так называли на Руси сандал.

[27] *Скрыня* – небольшая шкатулка с ящичками, где хранили украшения или деньги.

[28] *Смарагд* – изумруд.

[29] *Червленый яхонт* – рубин.

– Мамушка, его хочу! – трясла дочка ароматным кувшинчиком. Как бы вновь из рук не выпал!

Аксинья быстро вытащила из мешочка, прикрепленного на поясе, монету и протянула ее Агапке. Тот проверил на зуб, поклонился со всем почтением, но на прощание сказал лукаво:

– Возвращайтесь, госпожи. Мои сокровища вас еще удивят.

Аксинья вышла из лавки, долго моргала привыкшими к полутьме глазами. Они с Нюткой словно переместились в какое-то сказочное место – хоромы подземного царя? Логово Змея Горыныча? Эти богатства далеки были от кипучей и простой жизни солекамского люда, от круга забот Аксиньи.

Не собирался Степан баловать знахарку и рядить в яхонты да смарагды: стара, ворчлива, руки красны от непрестанной работы.

– Мамушка, лавочник знает, кто мой отец!

– Да, не зря он так кланялся нам.

– А мы к нему вернемся?

Аксинья не успела ответить дочке, на них налетел рассерженный Третьяк и битый час возмущался непомерной глупостью бабьего племени.

* * *

Обратная дорога выдалась веселой. Следом за санями несся такой вой, что на них оборачивались прохожие. Мальчишки бежали следом с криками: «Бесы!» Пять клеток, закрытых дерюгой, прятали от прохожих то, что купила Аксинья.

– Мамушка, отчего они плачут?

– От страха, от разлуки с домом.

Четыре клетки давно молчали, смирившись с тряской и путешествием в никуда. А пятая продолжала завывать на все лады. Самим чертям в преисподней сделалось бы тошно – и они не вынесли бы такого крика.

– Знахарка, да утихомирь… – Третьяк закончил смачным ругательством.

– Ты на хозяйское добро рот не разевай. Сиди правь лошадьми.

Сани завернули во двор, Аксинья, не дожидаясь помощи слуг, спустилась с возка и помогла дочери.

– Третьяк, ты покупки наши в дом занеси. Клетки в амбар поставь. И не вздумай открыть!

* * *

Аксинья обшарила все торговые ряды: кошек в Соли Камской после голодных зим сыскать было сложно. Всех хвостатых, что могли предложить торговцы, она купила, не жалея монет. Изгаженные, изгрызенные мышами запасы обойдутся много дороже.

Аксинья открыла первую клетку и вытащила белую кошечку с серыми подпалинами. Она уже переросла молочный возраст, но казалась слишком мелкой и слабой.

– Дай мне, мамушка, – попросила Нютка и с восторгом воззрилась на испуганное существо. – Будет Белянкой.

Аксинья уже стягивала дерюгу и открывала вторую клетку. Серый котенок, похоже, обладал хорошим нравом. Он сощурился, втянул воздух сарая, пропахший гнилой травой, зерном, мышами, коротко мявкнул.

– Хороший зверь! – одобрительно погладила его по загривку Аксиньи и подтащила к корытцу с молоком.

Белянка, пугливо поджимая уши, присоединилась к нему. В третьей клетке что-то громко копошилось. Аксинья отодвинула защелку, черная стрела промчалась мимо нее и спряталась где-то в соломе.

– Пугливый да быстрый. Будет толк.

Трехцветная мурлыка не желала покидать клетку. Она повернулась к Аксинье спиной, словно желая показать, что все перенесенные страдания ожесточили ее. Знахарка осторожно погладила шелковый бок, поворошила черно-рыже-серую шерстку. Во взрослой душе, зачерствевшей за годы мытарств, просыпался трепет давно забытой, юной Оксюши, что обожала кошек.

Обладатель самой большой клетки, тот, что криком взбудоражил улицы, встретил Аксинью тихим шипением.

– Ах, ты уже не кричишь? Иди сюда, голосистый ты наш! – В голосе знахарки помимо воли появились те ласковые напевы, что обращаться должны лишь к ребенку. Черный, с белым пятном на морде, крупный, но отощавший кот пучил на нее желтые глаза.

– Мамушка, она мертвая? – Нютка вытащила из пятой клетки котенка. Пятнистая заляпанная шкурка не подавала признаков жизни. – Помоги ей, ты ведь умеешь, мамушка. Жалко зверушку. – На глазах дочки уже вскипали слезы.

На базаре, как известно, два дурака: один продает, другой покупает. Сегодня расклад оказался не в пользу Аксиньи.

* * *

– Задуй свечу, Степан.

– Зачем? Пусть глаз радуется.

– Степа…

Ночь превратилась в ее подругу, соратницу и колдунью. Она опускалась на солекамские улицы, усыпляла псов, стражников, детей, девиц, но для двоих приберегала совсем другое зелье. Аксинья помнила присказку, что слышала от ведуньи Глафиры: «В одну реку не войти дважды», была в тех словах великая мудрость и великое сожаление о прожитом.

Аксинья и Степан босиком зашли не в ту же реку – в бурлящий поток: яростное, неистовое притяжение понесло их вперед. Она не верила, щипала себя за локоть украдкой: с чего бы Строганову, признанному сыну богача, именитого человека, привечать знахарку, бедную крестьянку? Проводить с ней ночи напролет, прижимать к себе так, словно хотел ее кто-то отнять да увести силой… Да кому ж нужна она? Не свежа, изнурена непростыми годами, дурна нравом, с тягостной историей за плечами. Да с мужем в Обдорском остроге, то ли мертвым, то ли живым…

Как ни крутила Аксинья думы свои, одинаково всякий раз у нее выходило: она товар бросовый, зряшный, для Строганова – мера прогорклой пшеницы.

– Слушай-ка, Малой на поправку пошел? – оборвал Степан ее бесконечные думы.

– Слава Богоматери, парнишка выжил.

– Ах ты, ведьма моя, – прошептал в самое ухо горячо, ласково, так что нежданные мурашки побежали по телу, еще не остывшему от объятий. «Ведьма», – слово, что кидал озем каждый раз в пылу ссоры, упрекал им и стыдил, как весь мир вокруг, звучало теперь похвалой ее знахарскому дару.

Потом, смиряя дыхание, остывая от ласк его, ощущая внутри жар мужского семени, грешница Аксинья долго лежала, слушая сонное дыхание Строганова. Разметав руки-ноги по кровати, он тихо сопел, словно мальчик, а не муж, покрытый шрамами. Прижималась остывшим носом к горячему плечу, вдыхала запах, что становился родным.

Кажется, она отпускала на волю слабое бабье сердце, которое всегда тянется к теплу, как зеленый росток. Лишь бы заморозки не ударили по самому сокровенному.

6. Ореховая веточка

Вербное воскресенье должно нести благость и покой. А с самого утра дом стоял на ушах: крики, суета, взбудораженные мужики, суетливый Потеха, чаны с горячей водой на печи. Сквозь всю эту суматоху слышался тонкий измученный Лукашин голосок:

– Мамушка, родная, помоги!

– Нет матушки твоей, заинька. Я помогу тебе, все будет хорошо, – увещевала подругу Аксинья.

Она молилась о скором разрешении Лукаши от бремени. Жизнь послала спокойные месяцы: с прошлой осени Аксинья не принимала роды, не перевязывала пуповину, не боялась каждый миг потерять роженицу или дитя. Изо всех знахарских дел роды давались тяжелее всего: сразу две жизни зависели от ее мастерства.

Голуба явился в покои Степана на ранней зорьке, старательно отводя глаза от темной Аксиньиной косы, проговорил:

– Лукаша… Того… Рожает, видно.

Первый ребенок мог обернуться долгими муками, Аксинья отправила Потеху за опытной соседкой: лишние руки не помешают. Он скоро вернулся вместе с крупной говорливой старухой, что работала где-то по соседству.

– Ишь как устроились, словно барыни, – восторгалась старуха, оглядывая обложенную изразцами печь, ковры, богатые сундуки, иноземную посуду.

– Ты не глядеть на диковины пришла, – оборвала ее Аксинья.

– Еремеевной зови меня. По отцу-батюшке все кличут. Хорошее у него имя было, земля ему пухом, – не умолкала старуха. – Это ты знахарка, да? Про тебя все говорят?

Аксинья провела Еремеевну в мыльню, где по обычаю устроила стонущую роженицу.

– Ты гляди за Лукерьей.

– Чего на нее смотреть? Не скоро еще родит, сама знаешь. – Старуха мельком оглядела молодуху и вновь вперилась в Аксинью.

– Хочешь знать, что говорят-то про тебя, а? Любопытная ведь… Мы, бабы, все любопытные, точно кошки.

Аксинья прикусила губу, лишь бы не сказать пакостное: «Да, хочу!» Но старуха и не стала дожидаться:

– Говорят, приворожила Степку Строганова, бабника известного. Не иначе наколдовала. – Старуха подмигнула ей, словно имела на то право.

– Нелепица сущая. – Аксинья с трудом сдержала улыбку. – Еремеевна, ты роженице не докучай.

– Да какая с меня докука, правда, Лукашенька? – приговаривала старуха.

– Ты мне расскажи что-нибудь интересное, отвлеки от боли и страха, – попросила Лукаша.

Аксинья с запоздалым сожалением подумала, что не смекнула, скудоумная, развеять страхи Лукерьи и десятков других рожениц затейливыми сказами. Не мастерица она в разговорах долгих да отстраненных. Заговоры, тайные снадобья, советы, указания – в них толк знает.

– В деревушке одной, немалой-невеликой, жил мужик. Да было у него три дочери, одна другой краше, – начала старуха рассказывать особым напевным голосом. – Собрался мужик на базар, спросил дочек любимых, что привезти. Старшая попросила платье шелковое, средняя – плат заморский, третья дочь, скромница, попросила веточку ореховую[30].

[30] Авторское переложение народной сказки Пермского края.

Аксинья пошла в дом за горячей водой да травами. А сама жалела – сказку пропустит. И ноги сами понесли в мыльню.

– Остановились сани возле крыльца, – продолжала сказ Еремеевна, Лукерья и стонать перестала, вся обратилась в слух. – И выходит оттуда жених в богатой одежде, тяжелой шубе.

– Как Голуба мой, – хихикнула Лукаша, и тут же оборвала смех, ухватившись за живот.

– Терпи, милая. Кланялись все богатому жениху, да скоро увидели, что в шубе той – гость лесной, медведь. «Кто веточку ореховую у отца в подарок просил?» – прорычал медведь. Старшая сестрица проговорила чуть дыша: «Не я», средняя молвила: «Я не просила», а младшая сестрица вышла, сказала смело: «Я просила». «Будешь женой моей. Ежели не поедешь со мною в лес, разорву тебя да не пожалею». Некуда было деваться красной девице, поехала она с медведем, отец с сестрами провожали ее словно на смерть.

– А-а-а-а, – закричала Лукаша и вцепилась в Аксинью. – Что-то со мною происходит. Что ж это?

– Рожаешь, милая, – погладила ее по голове Еремеевна.

Лукерью судьба берегла. Когда последние лучи солнца окрасили оконную слюду в розовые тона, на божий свет явился сын Пантелеймона Голубы, и крик возвестил, что бойкость нрава унаследовал он у отца.

Лукерья закрыла глаза, казалось, уснула. Аксинья обтирала младенца тряпицей, трепетно проверяла ручки-пальчики: все ли на месте, все ли ладно с сыном дорогого ей человека. Еремеевна охотно взяла на себя грязную работу: собрала кровавую ветошь и послед, вытерла бревенчатый пол – вела себя так, словно стала частью этого дома, а не гостьей.

– Сказки у тебя выходят, точно пирожки у доброй хозяйки, – нарушила тишину Аксинья.

– Хочешь продолжение узнать? Слушай. Приехали косолапый жених да ладная невеста в церковь. А поп-то отказывается венчать: говорит, мол, грех зверю с девицей брак заключать. Медведь зарычал так, что ветер поднялся в церкви. Поп, куда деваться, согласился. Невеста не поднимала глаза на медведя, дрожала, словно деревце. А когда открыла глаза, увидала, что с жениха клочьями спала шерсть.

– Счастье-то какое, – сонно пробормотала Лукаша.

– Чары наложила на доброго молодца злая колдунья. Как слова пред алтарем сказал заветные, вернулся к нему прежний облик. Стали они жить в богатстве да любви.

– Добрая сказка. А порой добрый молодец в медведя превращается, – вдруг сказала Аксинья.

– Немало ты о жизни знаешь, знахарка, – хмыкнула Еремеевна. – Мой муж как медведем когтистым был, так и остался. Земля ему… – Она не закончила, да только посулила старуха мужу не пуховой землицы.

* * *

Нужда в служанках для огромного строгановского дома разрешилась, словно в сказке: Еремеевна пришла вместе с двумя внучками и запасом историй. Аксинья приглядывалась к старухе, отыскивала в ней червоточину, но добрая, смешливая, говорливая Еремеевна стала настоящим подспорьем в тяжелые дни.

Лукерья, родившая сына без лишних мук, не могла прийти в себя вторую седмицу. Стороной обошла ее горячка, хворь не селилась в утробе, но мысли молодой матери были путаными, руки бессильными, а взгляд тусклым, словно у больной собаки. Порой она заливалась слезами безо всякой причины; спала днем, бодрствовала ночью.

Аксинья тревожилась за подругу, вливала в нее отвары из боровой матки, пастушьей сумки и пустырника, вспоминала Макошь[31] и верила в лучшее.

Грудь молодой матери полнилась молоком, сын охотно сосал благотворную жидкость. Аксинья с тревогой следила за Лукерьей: дитя не вызывало у нее должного умиления.

– Аксинья, что с женой? Когда она станет прежней? – Голуба требовал вразумительного ответа, тусклый взгляд и безразличие Лукаши повергали его в печаль.

Знахарка утешала его, да только сама не ведала, когда исцелится роженица. Слыхала о таинственном недуге молодых матерей, что падали в пучину грусти после родов, не суетились вокруг младенца, а увядали на корню. Посещала напасть тех, кто жил в счастии да благополучии. Бедные не могли себе позволить лежать, вперив взор в стену: а кто накормит детей и мужа, кто согреет дом?

Аксинья, простая крестьянка, жена кузнеца из деревушки Еловой, родила дитя от полюбовника. Плевали вслед, сулили ей всяческие несчастья. Вопреки всем радость охватывала все ее существо при одном взгляде на синеглазую Нютку. Как может мать пренебрегать дитем?

– Ах, какой богатырь! – Аксинья качала на руках мальчишку, ощущала приятную теплоту увесистого тельца. Пыталась показать матери, как хорош отпрыск.

– Кормить надо? – Лукерья расшнуровала ворот рубахи, повернулась на бок.

– Что с тобой приключилось?

– Дай его, – сухо сказала молодуха.

Аксинья бережно протянула ей каганьку, послушала задорное чмоканье. Лукерья прижимала к груди будто не дитя свое – постылую куклу. Не было в глазах ее ни капли материнской любви и приязни.

Аксинья хлопотала над ужином, перебирала по давней привычке нерадостные мысли. Казалось, что она белка в заколдованном колесе: внимание и забота требовались всем: Лукаше, отвратному Третьяку, что в три дня опустошал плошку с мазью; Малому, который шел на поправку; служилым, подхватившим простуду посреди ранней весны. Через два дня Великий праздник, дом, стол, себя надобно готовить к Пасхе, а не до торжества Аксинье…

– Мамушка, гляди! – ворвалась в ее мысли Нютка.

– Девонька, ты отчего ж кричишь? – ласково проворчала Еремеевна. Ее узловатые руки проворно лепили пироги. Маленькие и большие, мясные и сладкие, они устилали огромный стол.

– Котенок глазки открыл. Живой он! Гляди! – Нютка протягивала им пятнистый комочек шерсти с чистым восторгом.

– Дочка, кто ж шерстью над едой трясет?

– Недобрые вы, – пробормотала Нютка и утащила пятнистую забаву.

– Ты не баловством занимайся, а делом. Матери помочь не хочешь? – Аксинья крикнула уже в спину Нютки и ощутила, как злость поднимается откуда-то из глубины.

– Чисто дитя у тебя дочка, – прыснула в рукав Еремеевна.

– Не знаю, отчего. Не баловала нас жизнь, клевала и в темечко, и в затылок. А дочка у меня – чудо чудное.

– Пусть еще в куклы поиграет, скоро закончится сладкая пора. – Еремеевна всегда говорила разумное, слова ее, как всегда, оказались созвучны Аксинье. – Сейчас Маньку позову.

Круглые глаза, окруженные морщинами, мягкие обвисшие щеки, рот, привыкший к улыбкам, – самый вид старухи располагал. Всякому, кто слышал ее низкий голос, ощущал заботу, сразу хотелось приникнуть к ее широкой груди и жаловаться на свою судьбу-злодейку.

– Как без тебя жили? – привычно вздохнула Аксинья и сноровисто поставила в печь большой противень с пирогами.

---

[31] *Макошь* – славянская богиня, воплощение женского начала.

Не скоро они лягут спать: полночи проведут за приготовлением пирогов, сладких куличей, ватрушек, медовых колобков. Внучки Еремеевны, Маня и Дуня, бегали по дому: вытирали пыль да копоть, стряхивали тенета, вычищали каждый угол.

Аксинья вспоминала каждый день присказку: «Глаза боятся, да руки делают!» Скудные приготовления крестьянской семьи казались безделицей в сравнении с тем размахом, что приобретали праздничные торжества в богатом доме Строганова. Кто бы старший, умный да опытный пришел к ней и сказал: «С зайчатиной выйдут отличные пироги, а сохатину оставь для копчения». Все она постигала на собственном опыте. Теперь Еремеевна, что служила в богатом доме, давала советы на вес золота: как припасы хранить, как мед сытить, как учет всему вести, что в погребах, закромах да на леднике.

– Завтра яйца надобно покрасить в таком количестве, чтобы всех людей оделить да волочёбников[32] одарить.

– Волочёбников? – Аксинья словно заблудилась в редком лесу, среди мутных слов. – Такого в нашей деревне не было… Как успеть все, мамочки!

– Успеем, краса моя! – погладила ее по руке Еремеевна. – Еще от зависти все позеленеют.

* * *

К вечеру Великой субботы сделали невозможное. Огромный дом сиял чистотой: выскоблили каждый угол. Поставцы, столы, лавки, сундуки… Даже клети, где обитали служилые, вымыли под присмотром Потехи. Пасху в грязи справлять – весь год от нечистой силы страдать.

– Лавки закрыты, яйца красят, а не торгуют. Да я не лаптем делан, есть нужные знакомства. Мелкого да жухлого пруд пруди, а крупный орех лишь в одной лавке. И сохлые плоды, как их там… куражка. Держи! – Третьяк вытащил из-за пазухи сверток. – Для Лукерьи Терентьевны и звезду с неба достану, – он закашлялся, пытаясь скрыть смущение.

Аксинья подняла на него удивленный взгляд. Счастье, что Голуба не слышал таких вольных слов.

– Спасибо, Третьяк, за рвение, – кивнула она служилому.

Отыскала Аксинья в Вертограде лечебном снадобье, да размыло его временем, подъело плесенью – всем домом разбирали: «От печали молодых матерей спасет снадобье вкусное да полезное: орех, что на деревьях растет, смешать с куражкой, измельчить прилежно да залить медом хорошим. Настоять несколько дней, давать по ложке да разговоры вести душевные и в бане все выхлестать без жалости суетной. Хандра вся пройдет без следа».

Про «куражку» вспомнил Степан Строганов: ел у заморских купцов сушеные большие ягоды – диковина из дальних земель. Орехи, что на дереве растут, лесные, всем известны. В холодных солекамских землях они не водились, а на юге росли в лесах да по берегам рек.

Знахарка готовила снадобье, толкла в ступке твердые ядрышки лесного ореха, мяла курагу и шептала добрые слова. Без них снадобье для Лукерьи не станет целебным.

– Аксинья! Яйца сложила, куличи для освящения в корзинах красуются. Осталось только одежу поменять – и в церковь! – кричала Еремеевна.

* * *

Взгляд уперся в широкую спину, обтянутую легким кожухом[33]. Сколько собольих пупков пошло на одежу, не сосчитать. Пару дней назад Аксинья пришивала к кафтану пуговицы

---

[32] *Волочёбники* – гости, которые пели специальные песни, прославлявшие Великий праздник и хозяев (можно сравнить с колядующими на Святки).

[33] *Кожух* – легкий кафтан, подбитый мехом (часто соболем или белкой).

с яшмой, шипела, как злая кошка, исколов пальцы о толстую свиную кожу. Остались на строгановском кожухе капли Аксиньиной крови, и сейчас непотребная мысль грела ее в холодном Солекамском храме. Но не время думать о суетном…

Храм сиял, алтарник благоговейно читал, душа замирала от великолепия, взирала на иконостас, молилась, уповала на милость Всевышнего. А бренное тело устало от многочасового бдения.

– Жалко Лукашу, – прошептала Нютка. – Отчего ей в храм нельзя?

– Нечистой Лукерью считают, Нюта. – Аксинья, охальница, разговаривала с дочкой тогда, когда следовало молчать.

– И я буду нечистой, когда рожу? – таращила глаза девчушка, словно первый раз слышала о том, что ведомо каждой.

– И ты, и внучка твоя, и ее внучка…

– Почему нечистая?

– Тише, дочки, – ласково пресекла их разговор Еремеевна.

Ради Светлого Праздника она нарядилась так, что затмила всех женщин. Старая душегрея с золотыми да серебряными вошвами[34], тесьмой да клочковатым мехом по горловине – видно, дар прежней хозяйки. Бабы ее возраста, вдовы рядились в черное да невзрачное, убирали в сундуки крикливые наряды. Словно кто-то сдернет с них яркий убрус или красивую епанчу. Еремеевна несла себя с достоинством, и Аксинья чуяла: ни одна кумушка слово не посмеет ей сказать.

– Видишь ту, в синем? – скрипели где-то рядом.

Аксинья невольно оправила васильковый летник. Слишком роскошна обновка: шелк, какой лишь богачке носить, синие завитки на золотистом поле, жемчуга да бирюза на ожерелье. Непростой выбрала наряд, устала ото всех прятаться. Про нее кумушки шепчутся без стеснения.

– Это ж строгановская… – Следующие слова утонули среди ангельских голосов певчих.

Аксинья и так знала, о чем шепчутся за спиной: строгановская подстилка, ёнда, грешница, блудница. Из Еловой в Соль Камскую перебралась, а от себя да от судьбы своей срамной не убежать.

– Дочка, ты Божьи слова слушай. – Еремеевна незаметно сжала ее ладонь, и у Аксиньи что-то ворохнулось в сердце. – Эти две дуры, знаю их, во всем дурное отыщут, да свои закрома забудут проверить.

«Дочка» – такое сладкое, невообразимо теплое слово. Пахнуло детством и безмятежностью, материнский голос вспомнился. Где-то, на самом донце, мы остаемся детьми, что жаждут ласки. И следующие часы Аксинья глотала слезы. Смешивались в одном сосуде воспоминания о родителях, счастливом прошлом и слова, что читал охрипший алтарник.

* * *

За большим столом в парадной горнице Праздник собрал всех: хозяев, казаков, взрослых, детей. Аксинья, Еремеевна и ее расторопные внучки таскали яства на стол, торопились, словно подгонял их кто плеткой. Степан Строганов, Хозяин, сел во главе стола возле икон. Голуба устроился от него по правую руку, Хмур – по левую. Слуги и дети расположились на другом конце стола, служилые справа да слева.

Корзины с крашеными яйцами, подносы с куличами, серебряные блюда с холодной дичью и телятиной, три запеченных целиком поросенка, пироги, студень, каша с грибами заполнили

[34] *Вошвы* – лоскуты, вшиваемые как отделка или украшение в одежду, обычно другого вида, фактуры и цвета, были украшены драгоценным шитьем.

стол, являя собой подтверждение хорошей, сытной жизни в 1617 году, на пятом году правления государя Михаила Федоровича.

– Аксинья, сядь да угомонись, – приказал Строганов, с улыбкой наблюдавший за женской суетой.

Знахарка по дурной привычке вздумала было возразить, но Еремеевна кивнула на внучек: мол, сами справятся. Аксинья отыскала глазами дочку, Нюта понуро глядела на блюдо с молочным поросенком, словно в том крылась какая-то опасность.

– Сюда иди! – словно собачонке, сказал Хозяин. Аксинья, посулив ему утреннее расстройство живота, покорно пошла на указанное место.

Голуба подвинулся, и она, неловко подоткнув юбки, пролезла за стол между ним и Степаном. Ухмылки на лицах служилых, довольная улыбка Потехи, удивленные взгляды Маньки и Дуньки. «С чего служанке такая честь? Видно, сладкие песни ночами поет», – читала в их глазах.

– Аксинья! – Строганов тронул ее культей, замотанной в шелк. Этого легкого движения было достаточно, чтобы сердце застучало. – Поговорить надобно.

– Да? – Аксинья приказала сердцу угомониться.

– Через день мы двинемся в путь.

– Сразу после Светлого Праздника?

– Дело важней всего.

Аксинья кивнула и подняла глаза на Степана. В нем чувствовалась напряженность, словно поездка казалась испытанием. Синие глаза глядели без обычного вызова и лукавства, короткие волосы взъерошены, словно у мальчишки. Аксинья с трудом подавила желание пригладить их, провести ласковой рукой по высокому лбу.

– Прошу тебя… Да, прошу… – Он замолчал и, увидев наконец, что все слушают его, не смеют приступить к еде, сделал, что надобно. Встал, взял чашу с овсяным киселем, обратился к людям. – Дай, Господь, на следующий год дожить до Пасхи во здравии и благополучии! Христос воскрес!

Люди перекрестились, а потом оживились, загомонили, потянулись за снедью. Среди разговоров, смеха, стука крашеных яиц – кто ж забудет славный обычай? – Степан прожевал изрядный ломоть мяса и продолжил беседу.

– Голубу и Хмура я с собой возьму, Третьяка оставлю за старшего. Он ворчлив и хром, но службу свою знает.

Аксинья допила овсяный кисель. Есть отчего-то не хотелось.

– Прошу тебя смотреть за домом, за хозяйством, – сказал Степан. Аксинья закашлялась, хотя давиться ей было нечем.

– Хозяйкой оставляешь? – Не позволила губам растянуться в улыбке, но в блеске ее глаз всякий бы прочел: счастлива от оказанной чести.

– Справишься? Иль кого другого выбрать? – ухмыльнулся Строганов, Аксинья с облегчением увидела, что часть забот и тревог от него уходит.

– Пока Лукерья с недугом борется, все сделаю, за домом пригляжу.

– Знаю, – с набитым ртом подтвердил Степан.

– Пойду к дочке.

– Иди, иди! – Знахарка спиной ощущала на себе его взгляд и знала, что сегодня вечером вновь пойдет в Степановы покои.

Еще прошлой осенью она, словно бродяжка, валялась у ворот, просила о снисхождении. Грудень-месяц принес лихорадку и обморожение, чуть не отправил на тот свет… Но перенесенные муки окупились с лихвой. Аксинья сделала невозможное. Много лет назад Степан Строганов видел в ней лишь строптивую жену кузнеца, что со смехом и презрением отвергала

его ухаживания. Знахарка обладала для мужчины не большей ценностью, чем купленная на базаре кошка.

А стоит ли она чего-то сейчас? Аксинья думала об этом, без всякого смака нарезая копченую сохатину, отламывая сочные куски от тушки глухаря. Дочка тихо, словно мышка, сидела рядом, и ни одного слова не вырывалось из ее болтливых уст.

– Дочка, помоги мне собрать яства. Маня и Дуня, вы тоже.

Крупные, словно из полешек вытесанные девки сноровисто собирали опустевшие блюда, Аксинья поймала несколько игривых взглядов, что посылали им служилые.

В стряпущей от духоты, жара и чада перехватывало дыхание. Два дня здесь без перерыва готовили, пекли, тушили, кипятили. Открытое волоковое оконце не слишком помогло.

– Матушка, можно выйти? – грустно спросила Нютка, и Аксинья кивнула дочери, что, кажется, ждала от нее утешения и разговора по душам. Наконец-то…

Но пока надобно выполнять обязанности. Аксинья поражалась тому, как ловко вошла она в роль хозяйки дома. Сразу нашла верный тон и с Еремеевной, и с Дуней и Маней, даже со служилыми – всеми, кроме Третьяка. Никогда не возвышала себя над ними, относилась с теплом и участием, но ослушания не дозволяла. Откуда в ней, обычной крестьянской бабе, взялась эта способность, одному Богу известно. Аксинья отогнала несообразные мысли, дала указания девкам и пошла к Нютке, туда, где и должна быть.

Днем весна напоминала о себе щебетом птиц, длинными сосульками, темнотой снега. На мостовых уже виднелись проталины, Соль Камская готовилась к теплу, но сейчас, глубокой ночью, мороз пощипывал щеки и заползал под юбку.

– Дочка, да что с тобой, краса моя? – Аксинья подошла к Нютке и крепко прижала к себе, как всякая мать, что стремится защитить свое дитя.

– Все у меня ладно да весело. – Дочь вырвалась из ласковых рук.

– Да в кого же ты упрямая такая? В отца своего?

– Да кто мой отец? То ли кузнец, то ли Строганов… А может, еще кто? Семен Петух? – Губы дочери говорили жестокие слова, женщина не сразу поняла и приняла их смысл.

– Дочка, да о чем ты?

– Отец… Хозяин открестился от меня.

– Что ж говоришь ты?

Две плошки, освещавшие двор, с трудом разгоняли тьму, но их тусклых отблесков хватило, чтобы разглядеть на лице Нютки длинные мокрые полосы. Девчушка шмыгнула и продолжила со злостью:

– У в-в-в-воеводы мы были, – шмыгала Нютка. – И отец, маму-у-ушка, – шмыгала она горестно. Аксинья знала: прежде чем успокаивать, нужно понять, что случилось.

– Что, скажи толком?

– Воспитанницей назвал. Не дочкой! – Здесь Нютка уже затряслась в том рыдании, что знакомо каждой женщине, пережившей несправедливость.

– Милая моя, иди к матушке. – Нютка сама бросилась в ее объятия, и Аксинья с любовью целовала плат на макушке, прижимала к себе дрожащее тельце. – Не подумал он, отец твой, сказав такое. Были у него цели, нам неведомые.

– Отчего он на меня внимания не обращает? – задала глупая дочка вопрос, что терзал ее давно.

– Он купец, дел у него столько, сколько нам с тобой и не представить. У мужчин свой мир, дочка, нам туда хода нет. Ты же помнишь, он забрал тебя – значит, нужна дочь.

– Правда?

– А как иначе? – улыбнулась Аксинья и с благодарностью вспомнила своего отца. Василий Ворон никогда не давал ей повода усомниться в бесконечной любви.

– А отчего он к тебе… с тобой… – Дочка так и не смогла закончить вопрос, и знахарка с удивлением почуяла запах ревности. Ох и своевольница растет!

– Когда станешь взрослой, сама все поймешь, – не стала кричать и возмущаться Аксинья. Дочке еще предстоит узнать, как непроста бабья доля.

* * *

Его кожа, распаренная в бане, казалась гладкой, словно шелк. Рука женщины совершала долгое странствие по груди, да зацепилась за взгорок – один, другой шрам – кто-то полосовал Степана нещадно. Аксинья замерла на миг, словно ощутила ту старую боль, но рука ее спускалась к животу и наконец замерла, запуталась в русых зарослях.

– Ведьма, – прошипел он, попытался подмять мучительницу.

– Если будешь слова непотребные говорить, уйду и тебя баннику оставлю.

Мужчина затрясся от смеха.

– На что мне голый старик? От банницы я бы не отказался.

– Ах ты блудяшка[35], – Аксинья шлепнула его по животу.

Их шутки и подначивания завершились обычным действом. Строганов жадно распластывал ее на лавке, крытой иноземным ковром, поворачивал, прикусывал шею, сжимал соски так, что они превратились в красные ягоды. Он словно не мог насытиться перед отъездом.

Аксинье чудился в его исступлении какой-то надрыв, что-то неладное таилось за сегодняшним буйством. Охотно принимая его, ощущала ягодицами колючий ворс ковра и чувствовала запах пота и мужской страсти, смешанный с травами и влажным дыханием бани.

Любосластие продолжалось почти до рассвета. Аксинья понимала: у Степана нет уже сил, протягивала ему травяной отвар, парила, прижималась к мокрой коже жадными губами. Он вновь и вновь совершал то, что и нельзя было уже назвать страстью. Мучил себя и ее, то ли наказывал за что-то, то ли прощался.

– Степан, – наконец осмелилась она сказать, – рано выезжать. Тебе бы хоть пару часов поспать.

– Да? – Он поднял осоловелый взгляд, и Аксинья увидела в нем ответ на дочкин вопрос.

Отчего Строганов, богатый да влиятельный, нуждался в нищей знахарке из малой деревушки Еловая? Не ум, не снадобья Аксиньины нужны были, не сердце горячее. Для кого пиво иль крепкое вино, для кого горькое аглицкое зелье[36], а для Степана забвение отыскалось в ее грешных объятиях.

Аксинья вечно искала маетные ответы, окуналась в новые тревоги. А надобно жить да радоваться ниспосланным дарам.

---

[35] *Блудяшка* – повеса, гуляка (*устар.*).

[36] Горьким английским («аглицким») зельем в России называли табак.

7. Брат

Рыжая Нюра сквозь сладкий, как медовая коврига, сон услышала писк. Чертыхаясь и поминая худыми словами черта, Фимку и всех мужиков, она встала с лавки. Босые ноги неохотно ступили на холодный пол. Добежала в два прыжка до люльки, выхватила пискуна из теплого гнездышка, вернулась в объятия пухового одеяла.

Да, жеребенок вымочил солому, изгадил все льняные тряпицы, и Нюрке пришлось натягивать шерстяные чулки, подбитый куделью летник, зажигать лучину, исправлять беду. Каганька довольно улыбался, сучил ручками да ножками. Нюркина сонная злость улетучилась, сменившись материнским умилением.

Да, сын у них с Ефимом Клещи вышел сдобный да пригожий. Отцовская бесова рыжина затмилась материной бронзой, пух на голове обещал, что, выросши, он станет подобием Нюркиных кудрей. Младенческая худоба прошла, обернувшись пухлыми щеками и веселым взглядом: молока у матери было вдосталь. Она просыпалась по несколько раз за ночь, чтобы насытить неспокойного наследника.

Нюра уже привыкла быть матерью. Тогда, накануне Рождества, она почувствовала невыносимую боль, подняла дикий крик на все ямское поселение:

– Тетку Аксинью вези!

Но даже ей самой сквозь первые схватки и горячие потоки, льющиеся из самого нутра, ясно было, что муж не поедет в Соль Камскую за знахаркой. Соседки помогли Нюре, утирали пот с лица, шептали ласковые слова, словно дочери или сестре родной, показывали, как сподобнее дышать, утешали. Рассказывали, пытаясь пробиться сквозь ее дикие вопли, как рожали первенцев, обливаясь потом и прося Богородицу о снисхождении.

На поздней зимней зорьке Нюрка произвела на свет дитя, в который раз поблагодарила Святую Анну за покровительство: жеребенок, крепкий сын ее жестокого мужа, осветил своим появлением непростую жизнь молодой семьи.

Фимка тогда ворвался в избу, не дожидаясь разрешения повитух, подхватил на руки сына и поднял, словно показывая кому-то сверху – отцу ли, матери, – что отныне в бесшабашном роду его появился наследник.

– Ишь какой! – повторял он.

Возмущенные повитухи подняли галдеж. Сына у радостного отца забрали, перевязали пуповину, обтерли сукровицу и лишь потом позволили ему взять на руки.

Теперь крохотная семья стала настоящей.

Нюрка привыкала к долгим ночам, к завыванию ветра за околицей, к пяти глуховским избам с двумя дюжинами обитателей, к появлению незваных гостей в постоялом дворе. Седмицы две назад проезжий служилый принял за непотребную девку, пытался купить, совал медяки в руку, лишь крикливый сосед, вовремя услышавший этот разговор, отогнал охальника. Она привыкла даже к помощи Машки-пермячки, молчаливой и странной девки, которую когда-то отчаянно ревновала к Фимке.

Не могла привыкнуть лишь к одному – к долгому отсутствию мужа, его бесконечным поездкам по Бабиновской дороге.

Самоуверенный, дерзкий, преступный муж был для нее всем: любовью, покоем, защитой, опорой в тяжелой жизни без просвета и отдыха. Нюра старалась забыть о руках его, обагренных кровью, о ярости, что сметала все на своем пути.

Муж расточал к ней и ребенку ласку, терпение его казалось бесконечным. И что ей до тех, кто мог стать жертвой гнева Ефима Клещи?

* * *

– Ты еще выше да крепче стал! Тошка, Тошка. – Нюрка повисла на старшем братце, взвизгнула тихонько, точно девчонка, поджала ноги. – Раньше бы кто мне сказал, что по тебе, прохвосту, тосковать буду – не поверила.

– Ишь, заговорила-то, Рыжая! Как не соскучиться? Мужа завсегда дома нет. – Тошка поставил сестру на землю и с неудовольствием оглядел двор.

Впрочем, возмущаться было нечем. Ефим не меньше двух дней за седмицу проводил дома, успевал сделать все, что надобно: дров наколоть, двор вычистить, поправить ворота. Нюра справлялась с овцами, гусями и курами. Неприбранности да разгильдяйства в их дворе отродясь не было.

– Тошка, опять ты за свое! Мужа моего не трогай, не смей даже. – Нюра улыбалась, но в голосе ее братец без труда прочитал угрозу.

– Да что ты в нем нашла? Э-эх! Племянник-то мой где?

– В избе, молока напившись, сопит.

– Слышишь, уже дядьке радуется, – усмехнулся Тошка.

Нюра Рыжая всплеснула руками и побежала в избу, перескакивая через ступеньки, слыша стук сердца: вдруг что с жеребенком случилось? Прижала к себе, выпростала грудь, и каганька прекратил назойливый писк.

– Ты корми, не стесняйся, – зачем-то сказал Тошка, словно Нюра собиралась таить от него самое важное дело. Брат – не чужой мужик.

Тошка относился к Нюриному сыну лучше, чем к своим детям. Привозил с собой гостинчик – то свиной пузырь с горохом, чтобы забавлять дитя, то круг козьего молока и горшочек творога.

– Хочешь Антошку подержать?

– Тошка, тезка мой, – протянул брат. Он осторожно взял на руки каганьку, ощерился радостным зверем.

Нюра накрывала на стол, вытаскивала из печи постную кашу, резала щедрыми ломтями хлеб, а брат все забавлялся с Антошкой. Назвала она его в честь брата, обманув любимого мужа. Накануне родов обещала Фимке дать сыну имя Кузьма, но, вспомнив о страшной участи мальчонки, убитого злодеем, малодушно изменила данному слову. Благо в Святцах, как сказал добрый батюшка, имя Антошка – вот оно, накалякано черным по белому.

Вечером, умудренная опытом непростой семейной жизни, она решилась на вопрос, что жег язык уже не первый год:

– Ты отчего жену свою поедом ешь?

– А ты сама не видишь? Вы ослепли все да оглохли?! – Тошка вскочил с племянником в руках, напуганная Анна подхватила заснувшего ребенка и уложила в колыбели, подоткнув шерстяное одеяльце.

– Спи да дядьку не слушай.

– Не слушай? Спросила – и теперь рот заткнуть мне хочешь? – В Тошке жил какой-то дикий зверь, что порой просыпался и рвал его на части.

– Пошли на завалинку, криками тезку своего разбудишь.

– Да погоди ты.

Нюрка послушно ждала, видела, как вздуваются жилы на шее, как сжимает кулаки брат от несказанной обиды. Понимала Нюрка, в чем таилась вина Таисии, но не могла признать, поверить до конца, что такое возможно…

– Ты девчонкой тогда была. Мало что понимала.

– Все я знала: в жены ты брать Таську не хотел.

– Я бы зачеркнул былое, да… Паскудная натура у жены моей…

– Тише, брат, тише…

Тошка шепотом, постепенно переходившим в крик, рассказывал сестре о том, что змеилось на его сердце долгих пять лет.

Тошка

Эх, отчего такая жизнь-злодейка? Худую сараюшку срубил – взял топор да исправил. Без радения взборонил надел, оставил комья… Вновь прошел бороной – и стала земля мягкой, приветливой…

А жизнь штука другая.

Как не задалась она сызмальства, так и валится на левый бок. И комья под ногами. И не перерубить. Не переборонить, не переломить, не исправить…

Муж должен жену держать в страхе и покорности. И пусть стелется она перед ним и желания его исполняет. Хорош обычай, да в жизни Тошкиной все иначе вышло.

Таська, ненавистная Таисия, толстуха, сплетница и грязнуля, жила по-своему да мужа своего ни в грош не ставила. Тошка с другом крестовым Матвейкой греховодили на Купалу, удаль тешили. Да блуд совершили с Таськой. Кто знает, что там во хмеле и беспамятстве было…

Тошка тогда так рассудил: если отец решит женить на бабище непотребной, надо бежать. И собрал котомку, и попрощался с деревней. Эх, страх обуял: как жить без семьи, без друзей и родины? Во дни Смуты сгинешь где-нибудь, и косточек не соберут. Поддался Тошка уговорам, обвенчался с немилой.

Правду сказать, в постели она творила чудеса. Словно сам бес шептал ей на ухо, что сделать, как провести языком, куда вильнуть огромным своим рыхлым телом… Тошка проваливался в нее, словно в жаркую июльскую ночь, и ждал ее мягких рук, и презирал себя за эту пакостную тягу. Он работал как проклятый, выматывал себя на сенокосе, в хлеву, брался за любую работу. Но в темноте жена подкатывалась к нему, властно тянула голову к огромным, как вымя, мягким грудям, и Тошка опять ощущал, что бесстыжее естество лишало его здравого смысла…

Но прошло и оно. Год назад Тошка нашел молодуху в соседней деревушке. Стройная, большеглазая, ласковая, полная противоположность жене… Забывал с ней о поганой Таське. Да недолго радовался: вернулся изувеченный ляхами муж той молодухи. Выгнала она Тошку…

– Батюшка, ты отдохни, приляг. Силушка богатырская. Только сон всем нужен, – голос Таисии обволакивал, таял патокой на языке.

– Старик я, какая сила? – Дребезжащий смех Георгия изводил Тошку, будил страшное…

– Куда ж сам? Я сниму. Вот. – Со стуком падали сапоги, а Тошка в сенях сжимал кулаки. – Негоже хозяину самому возиться. Посижу, повечерничаю?

Сколько разговоров таких слышал! Сколько раз буйное, неистовое желание возникало – схватить Таську за волосы и выкинуть из избы. Да в пыль дорожную! Пусть глядят кумушки деревенские, смеются над распутницей. При живом муже со свекром греховодить…

А отец… Снохачом звали тех, кто поддавался на заигрывания сыновьих жен. Тошка избавлялся от любви к Георгию Зайцу, как знахарка Аксинья избавлялась от хворей. Он повторял себе: «Не за что его любить», в голове спорил с ним, насмешничал, вызывал на ссору. Вытравлял в себе сыновье уважение. Как можно почитать старого козла?

Отец словно не чуял за собой греха, глаза не опускал, вел себя ровно, с довольством. Не последний человек в деревне, Георгий принимал слова благодарности за еловской храм, был на короткой ноге с отцом Еводом… Словно не было долгих бесед и хохота с Таисией, словно не обхаживал он ее, как старый боров молодую свинью. И вслед за ними весь мир не замечал

Тошкиного несчастья. Никто из еловских не осмеливался разглядеть, что за лаской и добротой свекра кроется иное.

– Отец, надобно нам поговорить, – однажды не вытерпел Тошка посреди зимнего леса.

Они с отцом рубили валежник и взмокли от работы, перебрасывались шутками, даже вопреки обыкновению не поссорились ни разу. Сейчас казалось возможным сказать то, что наболело.

– Слушаю тебя, сын. Хоть передохнем чуток. – Георгий распрямился, вытер пот с лица. Он размашисто воткнул топор в ствол, тот аж закачался от ядреной силы мужицкой. А Тошка отчего-то представил острое лезвие в своей спине.

– Ты с Таськой… с женой моей не… – Тошка запнулся.

– Что?

– Она… ты можешь… А то люди… – Язык запутался в словах.

– У тебя рот не заячий, ладный, а отчего говоришь так криво?

– Ты бы с Таськой поменьше знался. Подальше от нее бы…

– Ты о чем, Тошка? Не понял намека.

– Вы часто вдвоем с женкой моей.

– Ах вот ты о чем! Ну сын! – Георгий прошелся туда-сюда, обдумывая только что сказанное.

Тошка замер.

Георгий, вопреки его ожиданиям, не пришел в ярость. Однако и оправдываться не стал – взял в руки топор и продолжил работу. Больше ни слова не услышал сын в тот день.

И лишь следующим утром Георгий сказал, словно сучья отрубил:

– Нет у меня с твоей женой ничего греховного. За теплом и сочувствием она ко мне приходит, от мужа родного не видит добра… Намеки свои продолжишь – выгоню из дома без жалости. Зрело в тебе злое семя матери да отца твоего, вот и явился плод горький.

С той поры Тошка затворил уста. Таська стала еще наглей прежнего. Стелилась ласточкой перед свекром, баюкала младшего, Мефодия, подсовывала его Георгию.

* * *

– Что делать-то? – Нюра смотрела на брата. Пригладить бы жесткие, словно ветки смородины, волосы, утешить, пообещать, что все будет гладко да рясно…

– Не знаю… Живет во мне то семя злое, кузнецовское. Такое во мне живет – там, внутри.

Анна подсела к брату, обняла по-бабьи, приголубила, гладила темную головушку ласково, точно мать, и просила милостивую Богородицу, чтобы показала та путь для спасения. Тошка – родной, любимый, горемычный.

8. Одной искры

Аксинья просыпалась еще до петухов, зажигала свечи, сотворив торопливые молитвы пред иконами, окуналась в нескончаемые хлопоты. Еремеевна вставала в то же зыбкое время, между ночью и утром, растапливала печи, будила слуг.

Дом постепенно оживал. Разговоры, смех, сонное бурчание Нютки, лепет Неждана, скрип половиц, мяуканье голодных кошек, нескончаемый грохот утвари – каждый из этих звуков казался слаще гуслей, которыми услаждали зевак скоморохи на ярмарке.

– Мамушка, приемыш… Гляди, что он натворил! – Нюта кричала так истошно, что Аксинья побежала на ее зов, не отряхнув руки от муки.

Служанка подтягивала портки на Неждане, а тот не сопротивлялся, только моргал белесыми ресницами.

– Мамушка, он тут напрудил. Гляди!

В углу расползалась желтоватая лужа, изрядная для четырехлетки, Нюткин пятнистый котенок осторожно подкрался к лужице, нюхал, и его длинный хвост дрожал, кажется, от того же возмущения.

– Сейчас Маня все вытрет, – успокоила дочку Аксинья.

Но внутри нее все бурлило. Забрав Неждана, она приняла непростое решение. В богатом строгановском доме можно было выкормить сотню таких приемышей, но воспитывать мальчонку предстояло ей.

Мачеха Неждана, Зоя, относилась к нему, словно к зверенышу, отказывала в обычном сочувствии и заботе, держала в сарае вместе со скотом, не рассказала о самых простых вещах, которые являются основой жизни среди людей.

– Неждан, пойдем-ка. – Аксинья взяла за руку мальчонку и повела его за собой. Он вихлялся, что-то бормотал, дергал всем тельцем, то ли пытаясь освободиться, то ли забавляясь.

– Га! – Мальчонка вырвался и побежал вперед.

– Неждан! – Аксинья вновь схватила липкую ладонь и повторила ласково: – Не безобразничай.

Они прошла через сени и завернули в закуток, именуемый задцом. Обшитый тесом, достаточно просторный, чтобы вместить трех взрослых, сделан он был на славу: два стольчака, обитые зеленой тканью. Развешанные по стенам пучки пижмы и полыни не перебивали злостный запах человеческих испражнений, что всегда сопровождал подобные клети.

– Сюда сел, дела справил. – Аксинья наклонилась, убрала деревянную крышку… и с трудом сдержала тошноту. Для женщин в хоромах отведены были особые покои, а здесь, в тесном задце, справляли нужду мужчины. – Просто сие, да?

– Га, – вновь кивнул Неждан.

– Милый, по углам не пруди. Нельзя так делать, непотребство.

– Га, – согласился парнишка.

Аксинья надеялась, что ее беседа с Нежданом принесет плоды. Мальчонка смышлен, со временем поймет нехитрые правила.

Неждан дернул ее за рукав, Аксинья недоуменно посмотрела на мальчишку. Негодник тянул ее вниз, настойчиво, резко, силушкой удался в отца – доброго молодца. Женщина подчинилась, склонилась навстречу и ощутила, как вокруг шеи обвились две ручонки. Неждан прижался к ней своим крепким тельцем и дрожал от напряжения, а может, от страха: вдруг оттолкнут. Она закусила губу и усилием воли прогнала непрошеные слезы. Нельзя хозяйке большого дома реветь.

– Игнашка, так тебя отныне звать будут. Понял? – Она присела перед мальцом так, чтобы лицо ее оказалось близко к чумазой мордашке.

– Гашка, – кивнул мальчонка.

* * *

Лукаша наконец-то выбралась из мягкой постели и сидела сейчас на краю в одной рубахе. Чудные волосы потускнели, коса совсем не похожа была на ту, девичью, в руку толщиной.

Да дело в ином… Лукаша не могла отыскать себя прежнюю в том бесполезном хнычущем существе, в какое обратилась после родов. Она замечала жалостливые взгляды Аксиньи и служанок, муж относился к ней с теплотой и состраданием. Все волновались, спрашивали о чем-то, пытались согреть объятиями и советами… Но внутри, в самом сердце ее, ничто не откликалось в ответ на добрые слова, улыбки, увещевания и просьбы.

А когда приносили крикливое сморщенное создание, что по какому-то недоразумению появилось на свет, Лукаша испытывала лишь одно желание – отправить обратно, туда, где крикун жил, спал – подальше от нее.

Но сегодня что-то изменилось.

Лукаша проснулась рано, долго лежала в темноте и все ж заставила себя зажечь три свечи.

– Матушка целыми днями хозяйством занята, ей не до меня, – жаловалась Нютка.

– Хозяйка велела прибрать здесь, – кланялась в пояс девка, то ли Манька, то ли Танька, Лукаша никак не могла запомнить.

И так каждый день.

«Аксинья – хозяйка? А я – я тогда кто?» – прорезала безвольное существование внезапная мысль.

Лукаша сидела и ждала. Сил на то, чтобы выйти из клети – из клетки? – самой начать разговор не было. Она знала, что новоявленная хозяйка рано или поздно придет проведать хворую и принесет зелье. Что ж там намешано?

Наконец она услышала шаги, с удовольствием ощутила, как, подобно весеннему половодью, разливается гнев праведный. Когда-то не любила ссоры, брань, боялась злословия матери. Сейчас самое время поменяться.

Она оправила рубаху. Могла та быть почище, посвежее, да Бог с ней! Перекинула косу набок. Так ловчее встречать соперницу.

– Лукаша, лучше стало? – улыбалась подруга. Радуется чужой слабости, лицемерная душа.

– Ты хозяйкой теперь здесь зовешься, да? – Лукерья не стала наводить тень на плетень.

– Милая, ты что?

– Забегали глаза? Я законная жена Пантелеймона Голубы. А ты кто? Подстилка? Полюбовница строгановская?

Лукаша наступала на Аксинью, чуяла за собой такую мощь, что могла бы сейчас раскидать служилых в разные стороны.

– Ты что говоришь? Лукаша…

– Решила ты меня зельем опоить, разума лишить!

– Что ж удумала? Да ты как? – Ничегошеньки Аксинья не могла ей возразить.

– Выгнать меня из дома решила… сына моего околдовать? Не бывать тому!

Речи ее проняли знахарку. Слез в черных глазах не разглядеть, жаль, но побледнела соперница знатно. Так ей! Думала, все проглотит Лукаша, все стерпит. Приблудилась зимой, милости просила, сирая да больная. А теперь, гляди, ходит царевишной! Отраву подмешивала, разума лишить хотела… Так все и было!

– Ты, Лукерья, раскаешься, а поздно будет. Видит Святой Николай, я не просила особого положения в этом доме. Не по своей воле пришла сюда. – Лукаша хотела возразить, но Аксинья властным жестом остановила ее. – Степан хозяйкой меня оставил. На то его воля.

– Не верю. Как ты здесь появилась, даже Голуба другим стал.

– Что за выдумки, Лукерья! Муж любит тебя и заботится… Жизнь твоя – легкая дорога. Ты придумываешь себе тяготы да несчастья.

Аксинья ушла, в сенях слышны были легкие ее шаги, а Лукаша все стояла, прислонившись к бревенчатой стене, глядела на то место, где знахарка только что была.

Сжимала и разжимала кулаки, кривила рот – закричать, что ли? А потом подстреленной птицей упала на кровать и заскулила.

Ой да не ночевала правда на ее стороне! Не подмешивала знахарка трав ядовитых, радела за нее, добрая подруга, но от этого становилось только гаже. Лукаша сама себе не могла признаться в том, что в душе ее поселилась непрошеная тоска.

9. Грибы

Кто бы дал ему сейчас крохотную горстку воли, плюнул на все да уехал на заимку: ходил бы на охоту с Голубой, коротал вечера за чаркой винной и байками, спал, ел всласть. На этой мысли Степан споткнулся: к «пил» и «ел» прилагалась третья нужда, срамная. Без нее обойтись он не мог. А как только всплыло пред глазами черноглазое румяное лицо, слышал он смех и дерзкий голос, от которого сразу бежали по спине мурашки, испытывал одно желание – вернуться в солекамские земли.

Ведьма – одно слово…

Синеглазая Нютка с бесконечными капризами, нытьем похожа на мать. Только дочка заглядывает ему в глаза, словно перед ней сам Господь Бог. От этих взглядов теплеет на сердце.

А знахарка глазами черными сверлит… Что думает? Черт ее знает, ведьму. То ли отравить собирается, то ли прижаться нагой плотью.

Нет теперь у Степана свободы, воли бескрайней, мужской, раздольной. Раньше делал все, что хотел, ночевал в теплых постелях вдовиц и срамных девок. А нынче… «Довольно о пустом», – оборвал себя Степан.

Коч[37] покачивался под ногами, словно пытался успокоить его, забрать худые мысли. Хороша земля родная! Лазурь небесная отражалась в водной глади, от лодки во все стороны расходились бурливые волны. Река Ньюга[38] стремилась навстречу Сухоне, а, обнявшись, оборачивались они Северной Двиной, мощной рекой, где любое аглицкое судно проходило без всяких опасений.

Отец заставлял когда-то Степку учить грамоту да цифры складывать. Лысый дьячок вдалбливал в него названия рек, острожков, чужих народцев. Порой удар оказывался крепок, на лбу у Степки оставались следы от палки, подбитой железом. Вычегда, Сухона, Печора, Обь, Пелым, Тобол были для него загогулинами на чудной картинке, он до беспамятства учил…

Теперь, тридцать лет спустя, он плавал по каждой из этих рек, бывал в городах да острожках, изъездил все. Златокипящая Мангазея, неприступный Сургут, малый Нарымский острог, шумный Тобольск…

---

[37] *Коч* – быстроходное судно, использовалось для перехода по северным морям и рекам. В данном случае подразумевается малый коч, судно с небольшой осадкой, грузоподъемностью до семи тонн.

[38] *Ньюга* – древнее, пермяцкое название реки Юг, приток Северной Двины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.